

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд  
Кронин

КЛЮЧИ  
ЦАРСТВА

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин  
**Ключи Царства**

«Азбука-Аттикус»

1941

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Кронин А. Д.**

Ключи Царства / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус»,  
1941 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-12428-8

Фрэнсис Чисхолм – добросердечный и скромный священник, чья индивидуальность и непосредственность делают его непопулярным среди духовенства. Чтобы избавиться от «неудобного» священника, его отправляют в Китай. Более тридцати лет Чисхолм поддерживал миссию, несмотря на крайнюю нищету, гражданскую войну, чуму и враждебность его начальства. Сражаясь с глупостью, фанатизмом и жестокостью, отец Чисхолм получает ключи Царства Небесного, которые нельзя подделать, купить или украсть. Роман Кронины – это увлекательный, энергичный, красочный рассказ о глубоко духовном человеке, который творит добро в несовершенном мире. «Ключи Царства» – одна из лучших экранизаций современной англоязычной литературы с неподражаемым Грегори Пеком в главной роли.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12428-8

© Кронин А. Д., 1941  
© Азбука-Аттикус, 1941

# Содержание

I. Начало конца	6
1	6
II. Призвание	11
1	11
2	20
3	32
4	40
5	49
6	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Арчибальд Кронин

## Ключи Царства

**A. J. Cronin**

**THE KEYS OF THE KINGDOM**

© В. Аникин, иллюстрация на обложке, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство Иностранка®

\* \* \*

*Моему другу Ф. М. В честь его двадцатилетней миссионерской  
деятельности в Китае*

*И дам тебе ключи Царства Небесного.  
Христос – Петру. Мф. 16: 19*

## I. Начало конца

### 1

Ранним сентябрьским вечером 1938 года немолодой священник Фрэнсис Чисхолм, прихрамывая, поднимался по крутой тропинке от церкви Святого Колумба<sup>1</sup> к своему дому на холме. Несмотря на увечье, он предпочитал этот путь более пологому подъему по Меркет-Уинд. Добравшись до маленькой калитки в садовой ограде, он с каким-то наивным торжеством остановился, чтобы перевести дух и, как всегда, полюбоваться открывшимся пейзажем.

Внизу широкой серебряной лентой, слегка подкрашенной шафраном осеннего заката, спокойно текла река Твид. По склону северного, шотландского берега к реке в беспорядке спускались дома Твидсайда; их черепичные, похожие на одеяло из розовых и желтых лоскутов крыши скрывали лабиринт вымощенных булыжником улиц. Высокие каменные укрепления все еще украшали, как в старину, этот город на границе между Англией и Шотландией. Пушки, захваченные в Крымской войне, служили приютом для чаек, которые клевали мертвых крабов. Туманная дымка над песчаной отмелью в устье реки скрадывала очертания сохнувших сетей и мачт рыбачьих судов в гавани – тонкими недвижными нитями тянулись они вверх. Вдалеке от моря, над бронзовыми в это время года лесами Дерхэма, уже сгущались сумерки. Одинокая цапля медленно летела к лесу. Отец Чисхолм долго провожал ее глазами. Воздух был чист и прозрачен, напоен запахом дыма и опавших яблок, предчувствием ранних холодов.

Со вздохом удовлетворения отец Чисхолм повернулся к калитке и вошел в сад. По сравнению с тем садом, который был у него когда-то на Холме Блестящего Зеленого Нефрита, этот мог показаться просто жалким клочком земли. Но все же он был красив и, как все шотландские сады, плодороден: несколько прекрасных фруктовых деревьев росло у ограды, а груши-скороспелки в южном уголке сада были просто великолепны. Убедившись, что тирана Дугала поблизости нет, отец Чисхолм украдкой взглянул на окно кухни, сорвал лучшую грушу с дерева и сунул под сутану. Его желтые морщинистые щеки даже покраснели от удовольствия, и он с торжеством победителя заковылял по усыпанной гравием дорожке, опираясь на новый зонтик из шотландки. Этот зонтик – замена прежнего, потрепанного, служившего ему в Байтане, – был единственной поблажкой, которую он себе позволил. У двери дома стоял незнакомый автомобиль.

Отец Чисхолм растерянно остановился. При всей своей забывчивости и рассеянности, часто ставивших его в неловкое положение, сейчас старый священник внезапно вспомнил неприятное письмо епископа, который извещал его о скором приезде своего секретаря монсеньора Слита. Отец Чисхолм поспешил к дому.

Монсеньор Слит ожидал его в гостиной, стоя спиной к холодному камину. Темная сутана придавала его тонкой фигуре особую элегантность. Ему было явно не по себе от жалкой обстановки дома, как бы принижавшей достоинство его сана, а длительное ожидание и вовсе истощило его терпение. Тщетно старался он найти в этой гостиной хоть какой-то след индивидуальности: может быть, фарфоровую или лакированную безделушку, что-нибудь, напоминающее о Востоке. Но комната была почти пуста и совершенно безлика: потертый линолеум, стулья, набитые конским волосом, треснувшая каминная доска, на которой монсеньор с неодобрением заметил катушку от спиннинга и кучу беспорядочно раскиданных пенсов, очевидно собран-

---

<sup>1</sup> *Святой Колумб* – один из самых почитаемых в Ирландии и Шотландии святых. – Прим. ред.

ных в церкви. И все-таки он решил быть обходительным. Приняв благожелательный вид, монсеньор Слит любезным жестом прервал извинения отца Чисхолма:

– Ваша экономка уже показала мне мою комнату. Надеюсь, я не стесню вас, если пробуду здесь несколько дней? Какой чудесный день был сегодня! Какие краски! Когда я ехал сюда из Тайнкасла, то чуть было не вообразил, что нахожусь в милом Сан-Моралесе.

С задумчивым видом он поглядел в темнеющее окно. Старик едва удержался от улыбки: уж очень явным был отпечаток отца Тэррента и семинарии на его госте. Элегантность, острый взгляд, даже легкий оттенок жестокости, который угадывался в его резко очерченных ноздрях, делали Слита прямо-таки копией отца Тэррента.

– Надеюсь, вам будет удобно, – пробормотал отец Чисхолм. – Сейчас мы перекусим. Простите, я не могу предложить вам обеда. Мы тут как-то привыкли к ужину и чаю по-шотландски.

Слит, полуотвернувшись, равнодушно кивнул. Действительно, в этот момент вошла мисс Моффат и, задернув тускло-коричневые занавески из шенили<sup>2</sup>, стала бесшумно накрывать на стол. Слит с иронией подумал, что это бесцветное создание, кинувшее на него испуганный взгляд, удивительно гармонирует с комнатой. Он заметил, что она поставила на стол три прибора, и это вызвало у него мимолетное раздражение, но ее присутствие помогло Слиту сдержаться и продолжить ничего не значащий разговор.

Во время трапезы гость с похвалой отзывался о каррарском мраморе, который епископ специально привез для нефа нового собора в Тайнкасле. Положив себе с большого блюда щедрую порцию ветчины, яиц и почек, Слит уже благосклоннее принял чашку чая, налитого из металлического чайника. Занятый намазыванием масла на подрумяненный тост, он не сразу услышал негромкий вопрос отца Чисхолма:

– Вы ничего не будете иметь против, чтобы Эндрю ел свою овсянку вместе с нами? Эндрю! Это монсеньор Слит.

Слит резко поднял голову. Мальчик лет девяти неслышно вошел в комнату и стоял, смущенно теребя голубую фуфайку. По его худенькому бледному лицу видно было, что он очень нервничает. Замявшись, мальчик скользнул на свое место и машинально потянулся за кувшином с молоком. Когда он наклонился над тарелкой, влажная каштановая прядь упала на его некрасивый костистый лоб (очевидно, была пущена в ход губка мисс Моффат). В глазах Эндрю, необычайно голубых, застыло детское предчувствие беды – они выражали такую тревогу, что мальчик не осмеливался поднять взгляд.

Секретарь епископа удобнее уселся за столом и не спеша продолжил прерванный ужин. В конце концов, сейчас еще неподходящий момент... Однако время от времени он незаметно поглядывал на мальчика.

– Так ты и есть Эндрю? – Приличие требовало, чтобы он что-то сказал. Слиту даже удалось придать своим словам некоторую благожелательность. – И ты ходишь здесь в школу?

– Да...

– Ну-ка, расскажи, что ты знаешь.

Довольно добродушно он задал несколько простых вопросов. Мальчик вспыхнул. От смущения он совсем растерялся и пробормотал что-то нечленораздельное, выдававшее его явное невежество. Брови монсеньора Слита поползли вверх.

«Ужасно, – подумал он. – Совершенный неуч!» Слит положил себе вторую порцию почек, и внезапно до него дошло, что, пока он небрежно поглощал всякие вкусные блюда, те двое ограничивались овсянкой. Слит покраснел: старик выставлял напоказ свой аскетизм. Какая невыносимая аффектация!..

Наверное, отец Чисхолм угадал его мысль, а потому покачал головой:

---

<sup>2</sup> Шениль – махровая ткань с неразрезанными волокнами. – Здесь и далее прим. перев., кроме особо оговоренных.



– Я столько лет был лишен моей милой шотландской овсянки, что теперь никогда не упускаю случая отведать ее.

Монсеньор Слит ничего не ответил. Вскоре Эндрю, робко взглянув на обоих священников и преодолевая немоту, попросил позволения выйти из-за стола. Когда он вставал, чтобы прочесть после еды молитву, то неловко задел локтем ложку и уронил ее. Неуклюже волоча ноги в грубых башмаках, мальчик направился к двери.

Снова наступило молчание. Закончив ужин, Слит легко поднялся и без всякой видимой цели опять занял свое место на тощем коврикe у камина. Широко расставив ноги и заложив руки за спину, он разглядывал, впрочем незаметно, своего престарелого собрата. Отец Чисхолм все еще сидел за столом с видом терпеливого ожидания.

«Боже милосердный, – думал монсеньор Слит, – что за жалкий представитель нашего сословия этот обтрепанный старик в грязной сутане с засаленным воротником! Какая у него желтая высохшая кожа!»

Одну щеку отца Чисхолма обезобразил шрам от удара кнутом, который выворачивал нижнее веко. Он, казалось, тянул его голову вниз и вбок, а шея была постоянно искривлена усилием хоть как-то восполнить хромоту – он припадал на одну ногу. Из-за этого наклона головы в тех редких случаях, когда отец Чисхолм поднимал глаза, обычно опущенные, его взгляд был как-то неприятно пронизателен, и это приводило других в замешательство. Слит откашлялся. Он решил, что теперь настала пора заговорить, и, придав своему голосу нотку сердечности, спросил:

– Давно ли вы здесь, отец Чисхолм?

– Двенадцать месяцев.

– Ах да! Со стороны его милости было очень любезно послать вас сюда, в ваш родной приход, после вашего возвращения.

– Это и его родной приход тоже!

Слит учтиво склонил голову:

– Да, да! Я знаю, что его милость разделяет с вами честь быть здешним уроженцем. Пойдите-ка... Сколько же вам лет, отец Чисхолм? Почти семьдесят, так?

Отец Чисхолм кивнул и со старицкой гордостью мягко добавил:

– Я не старше, чем Ансельм Мили.

Такая фамильярность заставила Слита нахмуриться, но он тут же снисходительно, с оттенком сочувствия, улыбнулся.

– Несомненно. Но жизнь обошлась с вами несколько иначе. Короче говоря, – произнес он и выпрямился, твердый, но отнюдь не жестокий, – епископ и я, мы оба считаем, что вы должны быть вознаграждены за долгие годы вашей преданной службы. Словом, что вам пора уйти на покой.

С минуту длилась полная тишина.

– Но у меня нет никакого желания уходить на покой.

– Тяжкий долг заставил меня приехать сюда, чтобы провести расследование и сообщить о результатах его милости. Но есть некоторые факты, на которые нельзя смотреть сквозь пальцы. – Слит благоразумно уставился в потолок.

– Какие именно?

– Шесть... десять... дюжина фактов! Не мне перечислять ваши... ваши восточные эксцентричности. – Слит уже не скрывал своего раздражения.

– Мне очень жаль. – Слабая искра зажглась в глазах старика. – Но хорошо, что вы помните, что я провел тридцать пять лет в Китае.

– Дела вашего прихода безнадежно запутаны.

– Уж не наделал ли я долгов?



– Откуда нам знать! Вы уже полгода не шлете отчетов о церковных сборах, – заговорил быстрее Слит и повысил голос. – Все у вас так... так... не по-деловому... Например, в прошлом месяце вам был представлен счет агентом фирмы Бленда – три фунта за свечи и прочее, и вы всю эту сумму оплатили медяками!

– Но я ведь и получаю медяки, – задумчиво взглянул на своего гостя отец Чисхолм. Слиту казалось, будто он смотрит сквозь него. – Вообще-то, я никогда не умел обращаться с деньгами. У меня никогда их не было, понимаете... Но в конце концов... Вы думаете, что деньги так страшно важны?

К своей досаде, монсеньор Слит почувствовал, что краснеет.

– Все это порождает сплетни, отец, – произнес он и поспешно продолжил: – Ходят и другие слухи... Некоторые ваши проповеди... советы, которые вы даете... толкование некоторых догматических вопросов... – он заглянул в сафьяновую записную книжку, которая уже была наготове в его руке, – выглядят опасно своеобразными.

– Быть этого не может!

– На Троицу вы сказали прихожанам: «Не думайте, что Небеса на небе... Они здесь, у вас в ладони... Они везде и всюду», – осуждающе нахмурился Слит, переворачивая страницы. – Вот опять... Вот ваше невероятное высказывание на Страстной неделе: «Необязательно все атеисты попадут в ад. Я знал одного, который не попал туда. Ад предназначен только для тех, кто плюет Богу в лицо». А вот... Господи, какая грубая бестактность! «Христос был совершенным человеком, но у Конфуция было сильнее развито чувство юмора!» – Он с негодованием перевернул другую страницу. – А этот совершенно неправдоподобный инцидент!.. К вам пришла одна из ваших лучших прихожанок, миссис Гленденнинг. Не виновата же она в том, что так толста. Она пришла к вам, чтобы получить духовное руководство, а вы посмотрели на нее и сказали: «Ешьте поменьше. Врата рая узки». Но к чему продолжать? – Монсеньор Слит решительно закрыл свою книжку с золотым обрезом. – Мягко выражаясь, вы, по-видимому, утратили способность управлять душами.

– Но... – взволнованно начал отец Чисхолм, однако затем спокойно продолжил: – Я вовсе не хочу управлять ничьими душами.

Слит покраснел еще сильнее. Он совсем не собирался вступать в богословскую дискуссию с этим выжившим из ума стариком.

– Кроме того, остается нерешенным вопрос об этом мальчике, которого вы так неосмотрительно усыновили.

– Кто же позаботится о нем, если не я?

– Наши сестры-монахини в Рэлстоуне. Это лучший приют для сирот во всем приходе.

Отец Чисхолм опять поднял глаза, приводившие монсеньора в замешательство.

– А вы хотели бы провести свое детство в этом приюте?

– Зачем переходить на личности, отец! Я уже сказал... даже если принять во внимание все обстоятельства... и в этом случае ситуация является крайне ненормальной и ей надо положить конец. Кроме того, – развел он руки, – если вы уедете отсюда, то его все равно придется поместить куда-нибудь.

– Вы, по-видимому, твердо решили избавиться от нас. А меня тоже отдадут на попечение монахинь?

– Конечно нет. Вы можете поехать в приют для престарелых священников в Клинтоне. Это идеальное пристанище для отдыха.

Старик даже рассмеялся сухим отрывистым смехом:

– У меня будет достаточно времени для идеального отдыха, когда я умру. А пока я жив, я не желаю очутиться в обществе целой массы престарелых священников. Может быть, вам это покажется странным, но я никогда не мог выносить духовенство в больших дозах.

Слит только криво улыбнулся:

– Мне ничто не покажется странным в вас, отец. Простите меня, но ваша репутация еще до вашего отъезда в Китай... вся ваша жизнь... была своеобразной, чтобы не сказать большего.

Наступило молчание. Отец Чисхолм тихо произнес:

– Я дам отчет за свою жизнь Богу.

Слит опустил глаза. Он был огорчен своей неучтивостью. Он зашел слишком далеко. Будучи холодным по природе, Слит, однако, старался быть всегда справедливым, даже деликатным. У него было достаточно такта, чтобы почувствовать себя неловко.

– Естественно, я не беру на себя смелость судить или допрашивать вас. Ничего еще не решено. Поэтому-то я и приехал сюда. Посмотрим, что покажут ближайшие дни. – Он шагнул к двери. – Теперь я пойду в церковь. Не беспокойтесь, пожалуйста, я знаю дорогу, – принужденно улыбнулся Слит и вышел.

Отец Чисхолм остался сидеть у стола, не двигаясь, прикрыв глаза рукой и погрузившись в свои мысли. Он чувствовал себя раздавленным угрозой, так внезапно нависшей над его тихим пристанищем, которое с таким трудом досталось ему. При всей своей безропотности (давно, впрочем, подвергавшейся тяжким испытаниям) старый священник отказывался принять этот удар. Он вдруг ощутил себя опустошенным и совершенно обессиленным, не нужным ни Богу, ни людям. Жгучее отчаяние охватило его. Такая мелочь, но как много это для него значит! Ему хотелось закричать: «Господи, Господи! Зачем Ты меня оставил?!» Отец Чисхолм тяжело встал и пошел наверх.

На чердаке, над комнатой для гостей, Эндрю уже спал в своей кроватке. Он лежал на боку, согнув на подушке худенькую руку, словно пытался защититься от кого-то. Внимательно всматриваясь в мальчика, старик вынул из кармана грушу и положил ее на одежду Эндрю, сложенную на плетеном стуле возле кровати. Больше он, очевидно, ничего не мог сделать. Легкий ветерок шевелил муслиновые занавески. Он подошел к окну и раздвинул их. В морозном небе мерцали звезды. При свете этих звезд он увидел всю свою жизнь, со всеми ее ошибками и неудачами, со всеми неосуществившимися стремлениями и бесплодными усилиями, лишенную стройности, красоты и величия. Ведь, кажется, совсем недавно он сам был мальчуганом, бегал и смеялся здесь, в Твидсайте. Его мысли унеслись в прошлое. Если сравнить его жизнь с рисунком, то первый, все определяющий штрих был, несомненно, нанесен в ту апрельскую субботу, шестьдесят лет назад... А он, в своем безмятежном счастье, не понял этого...

## II. Призвание

### 1

В то весеннее утро, за ранним завтраком в темной уютной кухне, он был счастлив. Огонь грел его ноги в одних чулках, запах щепок, которыми разжигали очаг, и горячих овсяных лепешек возбуждал аппетит. Пусть идет дождь, все равно сегодня суббота и прилив как раз такой, при каком хорошо ловится семга.

Мать проворно взбила деревянной мешалкой гороховую похлебку и поставила на выскобленный стол между ним и отцом миску с голубым ободком. Он достал свою роговую ложку и сначала погрузил ее в миску, а потом в стоявшую перед ним чашку с пахтаньем. Он перекачивал языком гладкую золотистую похлебку, сваренную на славу, без всяких комочков неразмешанной муки.

Отец, в поношенной голубой фуфайке и штопанных рыбаць их чулках, сидел напротив. Наклонив к столу свое крупное тело, он молча ел; его большие красные руки двигались медленно и спокойно. Мать встрясла со сковороды последнюю порцию овсяных лепешек, разложила их вокруг миски с похлебкой и присела к столу выпить чая. Желтое масло таяло на разломанной лепешке, которую она взяла. В маленькой кухне царили тишина и дух товарищества. Отсветы пламени прыгали по блестящей каминной решетке и беленному белой трубочной глиной камину. Ему было девять лет, и он шел с отцом к рыбакам в их барак.

Там его знали – он был мальчуганом Алекса Чисхолма. Люди в шерстяных фуфайках и кожаных сапогах до бедер принимали его в свою среду спокойным кивком головы или, что было еще лучше, просто дружелюбным молчанием. Он весь светился от тайной гордости, когда выходил с ними в море. Кто-нибудь из рыбаков, пригибаясь на ветру, суетливо делал последние приготовления к ловле, другие сидели на корточках, укрыв плечи пожелтевшей парусиной, некоторые пытались высосать хоть немного тепла из своих коротких почерневших глиняных трубок. Они с отцом остановились поодаль. Алекс Чисхолм был старшим на Твидской рыболовецкой станции № 3. Молча стоя рядом под пронизывающим ветром, они следили за далеким кругом поплавок, танцующих там, где река сливалась с морем. У мальчика часто кружилась голова от ослепительного солнечного блеска на водной ряби. Но он не хотел, не мог моргнуть и отвести взгляд хоть на мгновение: пропустив одну секунду, можно было упустить добрую дюжину рыб, а в те дни улов доставался с огромным трудом, и в Биллингсгейте рыболовецкая компания получала лишь полкроны дохода с фунта рыбы. Высокая фигура отца застыла в таком же напряжении: голова слегка втянута в плечи, острый профиль четко обрисовывается под старой кепкой, на выдающихся скулах выступил румянец. Иногда на воспаленные глаза мальчика наворачивались слезы счастья; его давало ощущение тайного товарищества с отцом, соединяясь в его сознании каким-то неуловимым образом с запахом водорослей, выброшенных морем, с отдаленным боем городских часов, с карканьем дерхэмских ворон.

Отец издавал крик, и, как Фрэнсис ни старался, он никогда не мог уловить этот первый момент погружения поплавок – не того покачивания, которое производит прилив и которое порой заставляло его, как дурака, бросаться вперед, а того медленного ухода поплавок вниз, указывающего наметанному глазу, что пришла рыба. Короткий резкий вскрик отца мгновенно заглушался топотом ног – команда бросалась к лебедке, чтобы вытащить сеть. Привычка никогда не притупляла остроты этого мига: хотя люди получали премию с улова, в тот момент никто не думал о деньгах – глубокое волнение, охватывавшее рыбаков, уходило корнями в далекие первобытные времена.

И вот, стекая ручьями, таща за собой водоросли, появляются сети; скрипит наматывающийся на деревянный барабан трос. Последнее усилие – и в кошеле вздымающегося невода вспыхивает расплавленным блеском, полным силы и прелести, семга!

Однажды – то была незабываемая суббота – они поймали сразу сорок рыбин. Большие сверкающие существа, изгибаясь дугой, бились, стараясь прорваться сквозь сеть и уйти в реку. Фрэнсис бросился вперед вместе с другими, отчаянно хватая драгоценную ускользящую рыбу. Рыбаки подняли мальчика, всего в блестках чешуи и вымокшего до костей, – он сжимал в своих объятиях великолепное чудовище. Вечером, когда они с отцом шли домой, держась за руки, и звук их шагов гулко раздавался в дымке сумерек, не сговариваясь, оба остановились у лавки Берли на Хайстрит, чтобы купить на пенни его любимых мятных лепешечек.

Их товарищество приносило ему и другие радости. По воскресеньям после мессы они брали удочки и тайком, чтобы не вызвать неодобрения благочестивых прихожан, пробирались окраинными улицами погруженного в воскресное оцепенение города, в зеленую долину Уайтэддера. В жестянке Фрэнсиса копошились в опилках жирные личинки мух, собранные накануне вечером на дворе у Мили. День пьянил его шумом реки, запахом таволги... Отец показывал ему места, где могли быть водовороты... Форель, вся в темно-красных пятнышках, извивалась по побелевшей гальке... Отец склонялся над костром... Потом они ели чудесную хрустящую жареную рыбу...

А иногда они отправлялись за черникой, земляникой или дикой желтой малиной, из которой выходил такой вкусный джем. Если с ними шла и мать, то получался настоящий праздник. Отец знал все лучшие места и заводил их далеко в лес, к нетронутым ягодным зарослям.

Когда выпадал снег и зима сковывала землю, они крались между заиндевевшими деревьями дерхэмского парка. Дыхание клубилось перед ними морозным паром, по коже бегали мурашки – а вдруг сейчас раздастся свисток сторожа?! Он слышал стук своего сердца, когда они опорожнялись силки почти под самыми окнами барского дома. И вот они уже торопятся домой! Домой! С сумками, полными дичи! Он улыбался, и у него уже текли слюнки при мысли о паштете из кролика... Его мать была великолепной кухаркой. Своей бережливостью, умением хозяйничать и ловкостью в домашней работе она заслужила одобрение скупой на похвалы шотландской общины. О ней говорили: «Элизабет Чисхолм – добродетельная женщина!»

Сейчас, прикончив похлебку, он услышал, как мать говорит что-то отцу, глядя на него через стол.

– Ты постарайся сегодня быть дома пораньше, Алекс, сегодня ведь праздник в муниципалитете.

Наступила тишина. Фрэнсис заметил, что отец чем-то озабочен, может быть, он думал о поднявшейся от дождей реке и о том, что семга ловится неважно, и его застало врасплох напоминание о ежегодном концерте в муниципалитете, на который им предстояло идти вечером.

– Ты твердо решила пойти, женщина? – спросил он с легкой улыбкой.

Мать слегка покраснела; Фрэнсиса изумил ее совершенно необычный вид.

– Ты же знаешь, как я всегда жду этого концерта. Да и ты, в конце концов, принадлежишь к муниципалитету. Ты просто... ты просто обязан присутствовать там со своей семьей и друзьями.

Теперь отец расплылся в улыбке, вокруг его глаз собралось множество добрых морщинок... Чтобы заслужить такую улыбку отца, Фрэнсис готов был бы умереть.

– Ну, тогда, похоже, нам придется идти, Лизбет.

Отец никогда не любил эти торжества, как не любил пить чай из чашек, носить жесткие воротнички и надевать скрипучие ботинки по воскресеньям. Но он любил эту женщину, которая хотела, чтобы он пошел туда.

– Так я рассчитываю на тебя, Алекс! Понимаешь, – в голосе матери, которому она из всех сил старалась придать оттенок небрежности, прозвучала нотка облегчения, – я при гла-

сила Полли и Нору из Тайнкасла. К сожалению, Нэд, кажется, не сможет отлучиться... – Она помолчала. – Так что тебе придется послать с квитанциями в Эттл кого-нибудь другого.

Отец выпрямился и бросил на нее быстрый взгляд, он, казалось, видел ее насквозь, проникая в самую глубину ее незамысловатой хитрости. Сначала, в своей радости, Фрэнсис ничего не заметил. Сестра его отца (ныне уже умершая) вышла замуж за Нэда Бэннона, владельца «Юнион-таверны» в Тайнкасле – шумном городе милях в шестидесяти к югу. Полли, сестра Нэда, и Нора, его десятилетняя племянница-сиротка, не были, по существу, их близкими родственниками. Однако их посещения всегда приносили в дом радость. Вдруг он услышал спокойный голос отца:

– Все равно мне придется самому идти в Эттл.

Наступило напряженное, полное скрытого значения молчание. Фрэнсис увидел, как побелела мать.

– Совсем необязательно идти самому... Сэм Мирлис, да и любой из твоих людей с радостью сделает это за тебя.

Отец ничего не ответил, продолжая спокойно смотреть на нее, – была задета его гордость, его мужское самолюбие. Ее волнение все возрастало. Она отбросила всякое притворство и, не скрывая больше своего страха, наклонилась над столом и положила дрожащую руку ему на рукав:

– Ну для меня, Алекс! Ты же знаешь, что случилось в прошлый раз. Там опять очень скверно, ужасно скверно, я слыхала разговоры об этом.

Отец успокаивающе положил свою большую ладонь на руку матери.

– Ты же не хочешь, чтобы я сбежал, не так ли, жена? – улыбнулся он и порывисто встал. – Я выйду сейчас... и рано вернусь... у меня будет еще уйма времени для тебя, для наших друзей и для твоего драгоценного концерта в придачу.

Побежденная, с напряженно застывшим лицом, она смотрела, как он натягивает высокие сапоги. Фрэнсис, унылый и подавленный, был охвачен ужасным предчувствием того, что должно произойти. И действительно, выпрямившись, отец повернулся к нему и мягко сказал, с необычной для него ноткой раскаяния:

– Я подумал сейчас, мальчик, что тебе сегодня лучше остаться дома. Ты поможешь матери по хозяйству, ей ведь еще много надо сделать до прихода гостей.

Ослепленный слезами разочарования, Фрэнсис не протестовал. Он почувствовал, что мать крепко, словно удерживая, обняла его за плечи.

Отец постоял минутку около двери, со сдержанной, но глубокой любовью глядя на них, потом молча вышел.

Хотя к полудню дождь перестал, время, казалось, еле-еле уныло ползло вперед. Мальчик прекрасно все понимал и мучился этим пониманием, но притворялся, что не видит хмурой озабоченности матери. Здесь, в этом тихом городке, их все знали, их не трогали и даже уважали. Но в Эттле, торговом городе в четырех милях отсюда, где находилось правление рыбных промыслов, куда отец должен был ежемесячно сдавать отчет об улове, к ним относились иначе. Сто лет назад вересковые пустоши около Эттла обгарились кровью ковенанторов<sup>3</sup>; теперь маятник неумолимо вернулся назад. Снова возникло жестокое преследование из-за веры, во главе которого встал новый мэр. Открывались сектантские молельни, на главной площади собирались массовые сборища, народ был возбужден до неистовства. Когда ярость толпы вырвалась на свободу, немногочисленные католики города были изгнаны из своих домов, всех же остальных, живших в округе, торжественно предупредили, чтобы они не вздумали показываться на улицах Эттла.

---

<sup>3</sup> *Ковенантор (ист.)* – сторонник «Ковенанта» (соглашение между шотландскими и английскими пресвитерианами).

Спокойное пренебрежение отца к этой угрозе возбудило особую ненависть сектантов. В драке, разыгравшейся в прошлом месяце, сильный рыбак сумел хорошо постоять за себя. А теперь, несмотря на новые угрозы и старания матери удержать его, он снова пошел туда... Фрэнсис вздрогнул от своих мыслей, и его маленькие кулачки сжались. Почему люди не могут оставить друг друга в покое? Его отец и мать были разной веры, но это не мешало им жить вместе, в полном мире и согласии, уважая друг друга. Его отец – хороший человек, самый лучший во всем мире... Почему же они хотят причинить ему зло? Острый, как лезвие ножа, страх пронзил его до глубины души... Само слово «религия» заставляло его отпрянуть, холодея от растерянности при мысли, что люди могут так ненавидеть друг друга за поклонение одному и тому же Богу, только выражаемое по-разному.

В четыре часа они возвращались со станции. Весело подзадориваемый Норой, он угрюмо перепрыгивал через лужи. Мать шла сзади со степенной тетей Полли, которая нарядилась по случаю субботнего чаепития и концерта. Приближение несчастья витало в воздухе и давило на него. Ни резвость Нору, ни ее красивое новое коричневое платье с тесьмой, ни ее откровенная радость оттого, что она видит его, почти не могли отвлечь мальчика.

Крепясь изо всех сил, он подошел к дому. Это был низкий чистенький коттедж из серого камня, выходивший на Кэннелгейт; сзади зеленела аккуратная лужайка, там летом отец выращивал астры и бегонии. Сверкающий медный дверной молоток и без единого пятнышка порог выдавали страсть матери к порядку. За окнами с непорочно чистыми занавесками в трех горшках пламенела герань.

Нора покраснела, запыхалась, ее голубые глаза сверкали, на нее нашел приступ какого-то задорного, злого веселья. Когда дети, обойдя вокруг дома, вошли в сад, где они должны были до чая играть с Ансельмом Мили (это устроила мать), девочка так низко наклонилась к Фрэнсису, что волосы упали на ее худенькое личико, и начала что-то шептать ему на ухо.

Как ни странно, на этот раз изобретательность Нору подстегнули многочисленные лужи и сочная, влажная после дождя земля. Сначала Фрэнсис не хотел ничего слушать. Это было удивительно, потому что присутствие Нору всегда вызывало в нем, несмотря на робость, ответный порыв. Сейчас он стоял, маленький и сдержанный, и с сомнением смотрел на нее.

– Я знаю, что он захочет, – убеждала она настойчиво. – Он всегда хочет играть в святого. Ну, живет, Фрэнсис! Давай это сделаем, ну, давай же!

Медленная улыбка чуть тронула его сжатые губы. Полунехотя он принес из сарайчика в конце сада лопату, лейку и старую газету. По распоряжению Нору он выкопал двухфуттовую яму между лавровыми кустами, полил ее и прикрыл газетой. Девочка искусно засыпала газету сухой землей. Едва они успели поставить лопату на место, как пришел Ансельм Мили. Он был одет в красивую белую матроску. Нора бросила Фрэнсису злорадный взгляд:

– Какой у тебя прелестный новый костюм! А мы ждали тебя. Во что будем играть?

Ансельм Мили снисходительно обдумал вопрос. Для своих одиннадцати лет это был большой, хорошо упитанный мальчик с бело-розовыми щеками, белокурый и кудрявый, с сентиментальным взглядом. Единственное дитя богатых и набожных родителей – у его отца был доходный завод костной муки, – он должен был поступить в Холиуэлл, знаменитый католический колледж в Северной Шотландии, чтобы по окончании его стать священником (это было его собственным желанием, но того же хотела и его благочестивая мать). Ансельм, как и Фрэнсис, прислуживал в церкви Святого Колумба. Его часто видели там на коленях, с глазами полными слез. Посещающие церковь монахини гладили его по головке. Все считали его – и не без основания – святым мальчиком.

– Давайте устроим процессию в честь святой Юлии, – предложил он. – Сегодня ее праздник.

Нора захлопала в ладоши:

– Давайте условимся, будто ее рака находится около лавровых кустов. Мы будем рядиться?

– Нет, – покачал головой Ансельм. – Это будет больше молитвой, чем игрой. Но вообрази, что на мне белая риза и я несу дароносицу, усыпанную драгоценными камнями. Ты будешь белой картезианской<sup>4</sup> монахиней, а ты, Фрэнсис, будешь моим прислужником. Ну, вы готовы?

Внезапная растерянность охватила мальчика. Он был еще в таком возрасте, когда не умеют анализировать свои ощущения. Фрэнсис знал только, что, несмотря на горячие уверения Ансельма, будто он его лучший друг, почему-то его благочестивые излияния возбуждали в нем какой-то странный, болезненный стыд. Собственное отношение Фрэнсиса к Богу было крайне сдержанным. Он оберегал свое чувство, сам не зная почему и не умея объяснить его, подобно тому, как тело оберегает нежный нерв, укрытый в его глубине. Когда Ансельм на уроке катехизиса пылко заявил: «Я люблю нашего Спасителя и поклоняюсь Ему всем своим сердцем!» – Фрэнсис, который перебирал в кармане мраморные шарики, вспыхнул густым румянцем; он пришел из школы домой мрачный и разбил окно.

На следующее утро Ансельм, частенько посещавший больных, принес в школу жареного цыпленка и горделиво объявил, что объектом его милосердия будет матушка Пэкстон, старая торговка рыбой; хотя эта особа высохла от ханжества и цирроза печени, в субботние вечера она устраивала такие уличные скандалы, что Кэннелгейт превращался в бедлам. Во время урока Фрэнсис как бешеный помчался в раздевалку, развернул сверток и вместо вкусной курицы (которую он съел вместе с товарищами) положил туда тухлую голову трески. Позже слезы Ансельма и проклятия Мэг Пэкстон доставили ему глубокое тайное удовлетворение.

Сейчас, однако, он колебался. Словно давая товарищу возможность спастись, Фрэнсис тихо спросил:

– Кто пойдет первым?

– Конечно, я, – быстро ответил Ансельм и встал впереди. – Пой, Нора: «*Tantum ergo...*»<sup>5</sup>

Под пронзительное пение девочки процессия гуськом двинулась вперед. Когда она приблизилась к лавровым кустам, Ансельм поднял сжатые руки к небу. В следующее мгновение он наступил на газету и во весь рост растянулся в грязи.

Секунд десять никто не шевелился. Рев «святого», пытающегося выбраться из ямы, рассмешил Нору. Ансельм, громко рыдая, повторял:

– Это грех, это грех!

Девчонка, смеясь, дико скакала вокруг и насмехалась над ним:

– Дерись, Ансельм, ну дерись же! Почему ты не стукнешь Фрэнсиса?

– Не буду, не буду, – выкрикивал Ансельм, обливаясь слезами, – я подставляю вторую щеку!

Он бросился домой. Нора иступленно вцепилась во Фрэнсиса – она задыхалась и изнемогала от смеха, слезы текли у нее по лицу, но тот не смеялся. В угрюмом молчании он уставился в землю. Как он мог заниматься такими глупостями, в то время как его отец ходит сейчас по враждебным улицам Эттла?! Фрэнсис все еще молчал, когда они пошли пить чай.

В маленькой уютной комнате стол был уже накрыт для совершения торжественного ритуала шотландского гостеприимства – он сверкал лучшим фарфором и всеми никелированными предметами, какие только были в их скромном хозяйстве.

---

<sup>4</sup> *Картезианцы* (лат.) – иначе картузианцы – члены католического монашеского ордена, первый мужской монастырь которого основан в 1084 г. во Франции, в местности Шартрез (лат. Cartusia).

<sup>5</sup> «*Tantum ergo...*» – латинский гимн, исполняемый при обряде поклонения Святым Дарам.



Мать сидела с тетей Полли; открытое серьезное лицо матери слегка покраснело от огня, иногда она посматривала на часы – и в эти мгновения ее коренастое тело застывало в напряжении.

Сейчас, после тревожного дня, заполненного попеременно то сомнениями, то надеждами, Элизабет твердила себе, что ее страхи глупы; она вся превратилась в слух – не раздадутся ли шаги мужа... Она испытывала непреодолимое, страстное желание увидеть его.

Мать была дочерью Дэниела Гленни, мелкого неудачливого булочника, по призванию же уличного проповедника. Он возглавлял созданное им своеобразное христианское братство в Дэрроу – невероятно скучном городке примерно в двадцати милях от Тайнкасла, где жили в основном корабелы. Когда Элизабет было восемнадцать лет, во время недельного отпуска от службы за прилавком родительской булочной, в которой она торговала кренделями и пирожными, она без памяти влюбилась в молодого рыбака из Твидсайда, Александра Чисхолма, и вскоре вышла за него замуж.

Полнейшее отсутствие сходства между молодыми людьми как будто заранее обрекало их союз на крушение. В действительности же их брак оказался на редкость счастливым. Чисхолм не был фанатиком: спокойный, добродушно-веселый, он вовсе не стремился влиять на религиозные верования жены. Она, со своей стороны, была сыта религией по горло и, воспитанная своим странноватым отцом на принципах всеобщей терпимости, не придиралась к мужу.

Даже когда первые восторги поостыли, она испытывала лучезарное счастье. По словам матери, муж был ей настоящей поддержкой – аккуратный, всегда охотно исполняющий все просьбы, он все умел: и починить ее машину для отжимания белья, и ощипать курицу, и вынуть мед из сотов. Его астры были лучшими в Твидсайте, его куры-бентамки всегда получали призы на выставках, голубятня, которую он недавно сделал Фрэнсису, была чудом мастерства. Зимними вечерами, когда она сидела с вязаньем у очага, а сын уютно спал в своей кроватке, когда ветер свистел вокруг маленького домика, делая его еще уютнее, а чайник шумел на крюке, когда ее долговязый, худой Алекс мягко ступал по кухне в одних чулках, молчаливый и сосредоточенный, занятый какой-нибудь работой, она иногда поворачивалась к нему со странной нежной улыбкой: «Муж, я люблю тебя».

Мать нервно посмотрела на часы: да, уже поздно, ему давно пора было вернуться. Сгустившиеся тучи как бы торопили наступление темноты, и крупные капли дождя опять застучали в оконные стекла. Почти в тот же миг вошли Нора и Фрэнсис. Элизабет старательно избегала тревожных глаз сына.

– Ну, дети! – подозвала их к себе тетя Полли. – Хорошо ли вы поиграли? Ну вот и ладно. Нора, ты помыла руки? Ты, наверное, предвкушаешь сегодняшний концерт, Фрэнсис? Я и сама люблю послушать музыку. Господи помилуй, девочка, да постой же смирно и, пожалуйста, ведите себя прилично, миледи, сейчас мы будем пить чай.

Игнорировать этот намек было невозможно. Вся во власти тревоги, овладевшей ею и еще более мучительной оттого, что она скрывала ее, мать поднялась:

– Мы не будем больше ждать Алекса. Давайте пить чай. – Она заставила себя извиняюще улыбнуться. – Теперь он придет с минуты на минуту.

Все было очень вкусно: и чай, и домашние лепешки, и варенья, и желе, изготовленные руками Элизабет. Но какая-то напряженность и подавленность нависли над столом. Тетя Полли не произносила своих обычных изречений, над которыми так потешался втайне Фрэнсис. Она сидела прямо, с прижатыми к телу локтями, прихватив одним пальцем чашку. Старая дева, приближающаяся к сорока, с продолговатым, утомленным, однако приятным лицом, несколько эксцентрично одетая, полная достоинства и сдержанности, но несколько рассеянная, тетя Полли являла собой образец жеманной аристократичности. На коленях у нее был расстелен кружевной носовой платок, нос покраснел от горячего чая (это ведь так свойственно человеческому роду!), птичка на ее шляпке грустно задумалась.

– Я только что подумала, Элизабет... – Тетя Полли старалась тактично прервать затянувшееся молчание. – Дети могли бы привести с собой мальчика Мили. Нэд знает его отца. Какое прекрасное призвание у Ансельма! – Не поворачивая головы, она скользнула по Фрэнсису добрым всеведущим взглядом. – Надо нам будет и тебя послать в Холиуэлл, молодой человек. Элизабет, ты хотела бы видеть своего сына, произносящим проповедь с кафедры?

– Только не моего единственного сына.

– Всевышнему нравятся единственные, – глубокомысленно изрекла тетя Полли.

Мать не улыбнулась ей в ответ, она давно решила, что ее сын будет знаменит: он будет известным адвокатом, может быть, хирургом, но она и думать не хотела, что его уделом может стать безвестная, полная тяжелых лишений и трудностей жизнь священника. Раздираемая все возрастающей тревогой, Элизабет воскликнула:

– Я так хочу, чтобы Алекс вернулся! Это... это страшно невнимательно с его стороны. Мы все из-за него опоздаем, если он не поспешит.

– Может быть, он еще не закончил свои расчеты, – деликатно предположила тетя Полли.

Мать мучительно покраснела, теряя всякий контроль над собой:

– Он уже должен был вернуться в барак, он всегда заходит туда после Эттла. – Она отчаянно боролась со своим страхом. – Меня нисколько не удивит, если он вообще забыл о нас, он ужасно невнимательный... – Она помолчала в нерешительности. – Подождем его еще пять минут. Еще чашечку, тетя Полли?

Но с чаепитием было покончено. Долше тянуть его было невозможно. Наступило тягостное молчание. Что же с ним случилось? Неужели он никогда не придет? Больная от беспокойства, Элизабет не могла больше сдерживаться: нескрываемый страх переполнял ее. Бросив последний взгляд на мраморные часы, она поднялась:

– Вы меня извините, тетя Полли, я должна сбежать туда и посмотреть, что его задерживает. Я недолго.

Эти минуты неопределенности и тревожного ожидания были мучительны для Фрэнсиса... Его преследовали ужасные видения: он видел узкий темный закоулок, какие-то лица, выплывающие из этой тьмы, какое-то беспорядочное движение... Вот его отец... Его хватают... Он борется... Вот он падает под ноги толпы... С тошнотворным стуком его голова ударяется о булыжники мостовой... Мальчик почувствовал, что весь дрожит.

– Позволь мне пойти с тобой, мама.

– Глупости, сынок, – слабо улыбнулась она. – Ты останешься дома и будешь занимать наших гостей.

Неожиданно тетя Полли покачала головой. До этой минуты она ничем не выдала, что замечает растущую напряженность. Не показала она этого и сейчас, но, проницательно посмотрев на мать, сказала:

– Возьми мальчика с собой, Элизабет. Мы с Норой отлично проведем время.

Все молчали. Фрэнсис впился в мать умоляющим взглядом.

– Ну ладно... можешь идти.

Элизабет надела на сына толстое пальто, потом, закутавшись в накидку из шотландки, взяла его за руку и вышла из светлой теплой комнаты.

Ночь была непроглядно-темна. Дождь лил как из ведра. Пенящиеся потоки, выливавшиеся из желобов на пустынные улицы, чисто вымыли мостовую. Когда путники с трудом поднимались по Меркет-Уинд, оставляя в стороне площадь с расплывчатым пятном света из муниципалитета, новый приступ страха налетел на мальчика из обступившей их темноты вместе с порывами дождя и ветра. Он силился подавить его, сжимая губы, из последних сил стараясь не отставать от матери, которая шла все быстрее и быстрее.

Через десять минут они перешли реку по Бордер-бридж, с трудом пробрались по затопленной набережной и направились к бараку № 3. Здесь мать в испуге остановилась. Барак был пуст и заперт. Она в нерешительности обернулась и вдруг заметила слабый огонек бакена, призрачно мерцающий сквозь дождь и тьму в миле вверх по реке. Это был барак № 5, где жил Сэм Мирлис, помощник отца. Хотя Мирлис был непутевым парнем и пьянчужой, от него все же можно было что-то узнать. Она опять пустилась в путь, упорно шагая по пропитанным водой лугам, спотыкаясь о невидимые кочки, натываясь на изгороди, перебираясь через канавы. Фрэнсису, который шел рядом с матерью, передавался ее все усиливающийся страх.

Наконец они дошли до барака. Это была деревянная хибарка из просмоленных досок, прочно стоящая на берегу реки. Перед ней стояла большая каменная бочка и висели сети. Мальчик не мог дольше терпеть – задыхаясь от волнения, бросился к двери и рывком отворил ее. И тогда Фрэнсис понял, что страх, весь день терзавший его, был не напрасен. Его зрачки расширились от ужаса, непереносимая боль душила его – он громко закричал. Его отец был там с Сэмом Мирлисом. Он лежал, вытянувшись, на скамейке; Фрэнсиса поразило бледное, залитое кровью лицо отца, одна рука его была кое-как перевязана, большой багровый рубец пересекал лоб. Оба рыбака были в фуфайках и высоких сапогах, на столе стояли стаканы и кувшин, покрасневшая от крови губка валялась рядом с ковшом мутной воды. Качающийся фонарь-молния бросал на них болезненно-желтый свет, а сзади крались синие тени, они собирались, таинственно колыхаясь в углах и под стучащей от ветра крышей. Мать бросилась вперед, упала на колени около скамейки:

– Алекс... Алекс... ты ранен?

Хотя в глазах у него все мутилось, отец улыбнулся, вернее, попытался улыбнуться победившими разбитыми губами:

– Ну, жена, не сильнее, чем те, которые напали на меня.

Слезы брызнули у нее из глаз. Они были вызваны и его упрямством, и ее любовью к нему, и яростью против тех, кто совершил это над ним.

– Когда он пришел, казалось, он вот-вот отдаст концы, – вмешался Мирлис, неопределенно махнув рукой, – но я подкрепил его парой глотков.

Она зло взглянула на него: налился, как всегда, в субботу. Гнев на этого отупевшего от пьянства дурака, который напоил ее так страшно изувеченного мужа, лишил Элизабет последних сил. Она видела, что он потерял много крови, здесь у нее не было ничего, чем бы можно было лечить его... Нужно сейчас же увести его отсюда... Сейчас же. Мать с трудом произнесла:

– Ты мог бы пойти со мной до дому, Алекс?

– Думаю, что да, жена... Если мы пойдем потихоньку.

Она думала, лихорадочно борясь с охватившей ее паникой и растерянностью. Природная интуиция подсказывала ей, что его нужно перевести туда, где будет тепло, светло и безопасно. Элизабет видела, что самая страшная его рана, на виске, перестала кровоточить. Она повернулась к сыну:

– Быстро беги домой, Фрэнсис. Скажи Полли, чтобы она приготовила все для нас, а потом сейчас же приведи к нам доктора.

Мальчик, дрожа, словно в лихорадке, судорожно, будто слепой, кивнул в знак того, что все понял. Потом последний раз взглянул на отца, наклонил голову и как безумный бросился бежать по набережной.

– Ну, тогда попробуй, Алекс... Дай мне руку.

Резко отказавшись от предложенной Мирлисом помощи (она знала, что он будет только мешать), Элизабет помогла мужу подняться. Покачиваясь, он медленно встал на ноги. Он был страшно слаб и почти не сознавал, что делает.

– Ну, я пошел, Сэм, – пробормотал Алекс невнятно, – спокойной ночи.

Она кусала губы в муках сомнения, однако, упорствуя, вывела его на улицу. Им в лицо ударила сплошная колючая сетка дождя. Когда за ними закрылась дверь и Элизабет увидела его, нетвердо стоящего на ногах, не замечающего непогоды, и представила себе извилистый обратный путь через болотистые поля с этим беспомощным человеком, которого надо дотащить до дому, ее охватил ужас. И вдруг, пока она стояла в нерешительности, ее осенила мысль. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? Если она поведет его коротким путем через мост у черепичного завода, то сэкономит не меньше мили и через полчаса он будет дома благополучно лежать в постели. С удвоенной решимостью Элизабет взяла его за руку. Торопливо шагая под проливным дождем, поддерживая его, она направилась вверх по реке к мосту.

Сначала он шел, по-видимому не подозревая, куда она его ведет, но неожиданно услышал шум несущейся воды и остановился:

– Куда это мы идем, Лизбет? Мы не сможем перейти реку у черепичного завода – Твид слишком разлился.

– Тсс, Алекс... не трать сил на разговоры.

Элизабет успокоила его и потянула вперед. Они подошли к мосту. Это был узкий висятый мост из досок, с перилами из проволочного троса. Он пересекал реку в самом узком месте и был совершенно надежен, хотя им редко пользовались, так как черепичный завод, который он обслуживал, давно закрыли.

Когда Элизабет ступила на мост, чернота и оглушительный шум близкой воды снова пробудили в ней смутные сомнения, может быть предчувствие. Она остановилась в нерешительности – мост был слишком узок: по нему нельзя было идти рядом. Она обернулась назад и взглянула в согнутую промокшую фигуру мужа. Порыв странной материнской нежности охватил ее.

– Ты держишься за перила?

– Да, держусь.

Она ясно видела толстый проволочный трос в его большом кулаке. Отчаявшаяся, охваченная страхом, задыхающаяся, Элизабет не могла больше рассуждать.

– Тогда будь поближе ко мне.

Она повернулась и пошла вперед. Они начали переходить через мост. На половине пути его нога сорвалась со скользкой от дождя доски. В другую ночь это не имело бы значения, но сегодня это значило очень много, так как разлившийся Твид поднялся до самого моста. В тот же миг несущийся поток воды заполнил его сапог. Алекс боролся с непреодолимо тянущей его вниз тяжестью, но в Эттле из него выбили всю силу. Вторая нога тоже соскользнула с моста. Оба сапога, полные воды, налились свинцом.

На его крик она быстро обернулась и с воплем ухватила за него. Река вырывала перила из его слабейших рук. Элизабет обхватила мужа руками. Какой-то миг, длившийся вечность, она отчаянно боролась рядом с ним, поддерживая его, потом темная бурлящая вода засосала их.

Всю эту ночь Фрэнсис ждал их, но они не пришли. Их нашли на следующее утро, во время отлива, в тихой воде около песчаной косы. Они лежали, словно сжимая друг друга в объятиях.

## 2

Четыре года спустя, сентябрьским вечером, совершая свой еженощный долгий и утомительный путь пешком от верфи в Дэрроу до булочной Гленни, Фрэнсис Чисхолм принял великое решение. Он устало побрел по усыпанному мукой коридору, отделяющему пекарню от магазина, – миниатюрная фигурка, терявшаяся в грубых, не по росту рабочих брюках, чумазое лицо под мужской кепкой, надетой задом наперед, – затем прошел через заднюю дверь, поставив пустое ведерко, в котором носил с собой завтрак, в раковину для мытья посуды. В его юных темных глазах горел затаенный огонь решимости.

В кухне грязный и, как всегда, загроможденный посудой стол был занят Мэлком Гленни. Мэлком, неуклюжий, очень бледный семнадцатилетний юноша, сидел, развалясь, над учебником Локка по составлению нотариальных актов. Облокотившись на стол, одной рукой он поглаживал свои сальные черные волосы, другой совершал опустошительные нападения на сладкое мясо, приготовленное для него матерью к его возвращению из колледжа Армстронга. Фрэнсис достал из печки свой ужин – пирожок за два пенни и картошку, которые жарились там с самого полудня, – и освободил себе кусочек места на столе. Дверь из кухни была до половины застеклена, и сквозь разорванную светонепроницаемую бумагу мальчик видел миссис Гленни, обслуживавшую покупателя в лавке. Будущий хозяин дома глянул на него с раздражением и сказал осуждающе:

– Неужели ты не можешь поменьше шуметь, когда я занимаюсь? О господи, что за грязные руки! Ты что, никогда не моешь их, когда садишься за стол?

Храня упорное молчание – лучшее средство защиты, – Фрэнсис взял в огрубелые, обожженные до волдырей руки нож и вилку. Дверь перегородки щелкнула и открылась – это миссис Гленни с озабоченным видом вошла в кухню.

– Ты еще не закончил, Мэлком, голубчик? Я испекла тебе чудную дрочену из одних свежих яиц и молока – она нисколько не повредит твоему желудку.

– У меня весь день болел живот, – проворчал тот, глотнув воздуха и рыгнув, и добавил с видом оскорбленной добродетели: – Вот, слышишь?

– Это все от ученья, сынок, все от ученья. – Она поспешила к плите. – Но драчена подкрепит тебя, ты попробуй только... Ну для меня...

Он позволил ей убрать пустую тарелку и поставить перед ним большое блюдо с новым яством. Пока Мэлком лениво поглощал дрочену, мать с нежностью наблюдала за ним, радуясь каждому проглоченному им куску. Миссис Гленни была одета в рваный корсет и старомодную, зияющую дырами юбку. Она любовно наклонилась к сыну, и ее злое лицо с длинным тонким носом и поджатыми губами осветилось беспредельной материнской нежностью. Затем она проговорила:

– Я очень рада, что ты, сынок, рано вернулся. Ведь сегодня у отца проповедь.

– Ой, нет! – Мэлком откинулся назад, испуганный и обеспокоенный. – Где? В миссионерском обществе?

– На улице. На Лугу, – покачала головой миссис Гленни.

– Но разве мы пойдем?

Она ответила со странным, полным горечи тщеславием:

– Это единственное положение в обществе, которое нам дал отец, Мэлком. Пока он не потерпит неудачу и в проповедовании, нам лучше принимать все как есть.

– Может быть, тебе это нравится, мать, – горячо запротестовал он, – а мне чертовски неприятно стоять там и слушать, как мальчишки вопят: «Святой Дэн!» Когда я был маленьким, это еще было терпимо, но теперь, когда я скоро стану стряпчим!..

Мэлком внезапно замолчал, так как дверь открылась и его отец Дэниел Гленни тихо вошел в комнату.

«Святой Дэн» подошел к столу, рассеянно отрезал себе кусок сыру, налил стакан молока и, все еще стоя, принялся за свою простую еду. Хотя он и сменил рабочую фуфайку, широкие брюки и рваные мягкие туфли на лоснившиеся черные панталоны, старую визитку, которая была ему тесна и коротка, целлулоидную манишку и черный галстук, фигура его не стала от этого более значительной, а вид менее понурым. Манжеты – тоже целлулоидные для экономии на стирке – потрескались, ботинки требовали починки. Дэниел Гленни слегка сутулился. Его взгляд за очками в стальной оправе, обычно тревожный, часто восторженно-отсутствующий, сейчас был задумчив и добр. Он жевал и со спокойным вниманием смотрел на Фрэнсиса:

– Ты выглядишь усталым, внук. Ты обедал?

Мальчик кивнул. Комната как будто стала светлее с тех пор, как булочник вошел в нее. Глаза деда были похожи на глаза его матери.

– Я вынул из печки пирожные с вишнями. Если хочешь, можешь взять одно, они там, на решетке плиты.

При виде этой бессмысленной расточительности миссис Гленни презрительно фыркнула – вот такое разбазаривание товара и сделало его банкротом, неудачником, – но покорно склонила голову.

– Когда ты хочешь идти? Если мы сейчас пойдем, я закрою магазин.

Дэниел Гленни посмотрел на свои большие серебряные часы с желтой костяной цепочкой:

– Да, мать, закрывай. Господня работа должна быть на первом месте. Да и покупателей сегодня больше не будет, – добавил он грустно.

Пока миссис Гленни опускала шторы в витрине с засиженными мухами пирожными, он стоял, отрешившись от всего, обдумывая свою речь на сегодняшний вечер. Внезапно Дэниел встрепенулся.

– Идем, Мэлком! – И, обернувшись к Фрэнсису, ласково сказал: – Будь умницей, внучек! Не ложись поздно.

Мэлком, угрюмо бормоча что-то себе под нос, закрыл книгу, взял шляпу и вышел вслед за отцом. Пока миссис Гленни натягивала черные лайковые перчатки, ее лицо приняло мученическое выражение, с каким она всегда ходила на проповеди мужа.

– Не забудь вымыть посуду. Как жаль, что ты не идешь с нами! – слащаво улыбнулась она.

Когда они ушли, он подавил желание лечь головой на стол. Принятое им недавно героическое решение зажигало Фрэнсиса, а мысль об Уилли Таллохе влиwała жизнь в его усталое тело. Мальчик нагромоздил гору грязной посуды в раковину и принялся мыть ее. Нахмутив брови и насупившись, он обдумывал свое положение.

Словно больное растение, Фрэнсис увядал в душной атмосфере навязанных ему благодеяний с той самой минуты перед похоронами, когда Дэниел самозабвенно сказал Полли Бэннон:

– Я возьму мальчика Элизабет. Мы его единственные кровные родственники. Он должен ехать к нам.

Правда, один только этот благородный порыв не смог бы вырвать его из родной почвы. Решила дело безобразная сцена, которую устроила миссис Гленни. Прельстясь теми небольшими деньгами, что выплатили Фрэнсису по страховке отца и выручили от продажи мебели, и грозя прибегнуть к помощи закона, она сломила сопротивление Полли, и та отказалась от намерения взять мальчика под свою опеку.

После этого всякая связь с Бэннонами была прервана так внезапно и резко, будто бы и Фрэнсис косвенно был в чем-то виноват. Полли (уязвленная и оскорбленная, всем своим видом

словно говорила: я сделала все, что могла), несомненно, вычеркнула его из памяти. Мальчик болезненно переживал разрыв.

Когда Фрэнсис переехал в дом булочника и жизнь еще привлекала его своей новизной, мальчика послали в школу в Дэрроу. На спине у него был новый ранец, его провожал Мэлком, миссис Гленни чистила и причесывала его. Стоя у дверей магазина, она провожала школьников взглядом собственника.

Увы! Этот приступ филантропии скоро сошел на нет. А дедушка Дэниел Гленни показался ему святым. Это был мягкий, благородный человек, часто подвергавшийся насмешкам, ибо он заворачивал покупателям пироги в трактаты своего сочинения и каждую субботу, по вечерам, водил по городу свою ломовую лошадь, у которой на крестце красовался напечатанный крупными буквами плакат: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Дэниел витал в облаках, откуда ему приходилось периодически спускаться и, взмокнув от пота, изнемогая под бременем забот, встречаться со своими кредиторами. Он работал не покладая рук. Можно сказать, что голова его покоилась в лоне Авраама<sup>6</sup>, а ноги в лохани с тестом. Где же ему было помнить все время о своем внуке? Когда дед вспоминал о Фрэнсисе, то, взяв его за руку, совал ему пакет крошек и вел на задний двор кормить воробьев.

Все ухудшающиеся дела мужа – пришлось уволить сначала возчика, потом продавщицу, затем закрыть одну за другой несколько печей, так что выпечка постепенно свелась к жалким пирогам по два пенни и пирожным по фардингу, – преисполнили миссис Гленни жалостью к себе. Для нее, мелочной по натуре, неумелой, но жадной, присутствие внука вскоре стало непереносимым кошмаром. Привлекательность суммы в семьдесят фунтов, полученных в придачу к нему, скоро пропала. Ей стало казаться, что расплата чересчур велика... Она давно уже отчаянно экономила на всем, и расходы на его одежду, пищу, ученье стали для нее вечной голгофой. Миссис Гленни даже считала куски, которые он съел. Когда штаны мальчика износились, она переделала ему сохраненный на память о юности зеленый костюм Дэниела, такого невообразимого рисунка и цвета, что он вызывал насмешки всей улицы и превратил жизнь Фрэнсиса в пытку. Хотя плата за обучение Мэлкома всегда вносилась в срок, миссис Гленни обычно ухитрялась забывать о плате за внука до тех пор, пока он не являлся к ней, дрожащий, бледный от унижения, обозванный неплательщиком перед всем классом. Тогда она начинала ловить ртом воздух, симулировала сердечный приступ, хватаясь за свою увядшую грудь, и в конце концов отсчитывала ему шиллинги с таким видом, словно он пил ее кровь.

Фрэнсис терпел все со стоической выносливостью, но постоянно чувствовал, что он один... Один... Это было ужасно для маленького мальчика. Обезумев от горя, он совершал долгие одинокие прогулки по безлесным окрестностям города в тщетных поисках ручья, где можно было бы половить форель. Фрэнсис подолгу смотрел на уходящие корабли, снedaемый каким-то страстным желанием, зажимая рот шапкой, чтобы задушить крик отчаяния. Очувшившись, как в ловушке, между двумя враждебными друг другу религиями, он не знал уже, что и думать. Его ясный и жадный ум притупился, лицо стало угрюмым. Мальчик чувствовал себя счастливым только в те вечера, когда Мэлком и миссис Гленни уходили куда-нибудь, а он сидел в кухне у огня напротив Дэниела и смотрел на невысокого булочника, который в полном молчании переворачивал страницы своей Библии с видом невыразимой радости.

Спокойная, но непреклонная решимость Дэниела не оказывать никакого давления на религиозные взгляды мальчика – да и как мог бы он это делать, проповедуя всеобщую терпимость! – была дополнительным источником недовольства для миссис Гленни.

Для такой «христианки», как она, не сомневающейся в своем спасении, напоминание о безрассудстве дочери было проклятием. Да и соседи судачили об этом.

<sup>6</sup> Лоно Авраама, или Авраамово лоно; обычно считается, что это является символом рая. – Прим. ред.



Кризис наступил через полтора года, когда Фрэнсис, проявив неблагодарность и бестактность, превзошел Мэлкома в конкурсном сочинении. Это было уже невозможно перенести. Недели бесконечного пиления сломили сопротивление булочника. К тому же он был на грани нового разорения. Было решено, что образование мальчика закончено. Улыбаясь ему впервые за много месяцев, миссис Гленни с притворной убежденностью внушала Фрэнсису, что теперь он уже маленький мужчина и может вносить свою лепту в дом, что ему нужно взяться за работу и познать величие труда. И он поступил на верфь Дэрроу подручным заклепщика с платой в три с половиной шиллинга в неделю. Ему было двенадцать лет.

К четверти восьмого мальчик покончил с посудой, быстро привел себя в порядок перед осколком зеркала и вышел на улицу. Еще не стемнело, но вечерняя прохлада заставила его закашляться и поднять воротник куртки. Он быстро зашагал по Хай-стрит мимо извозничьего двора и винных погребов. Вот наконец и аптека доктора на углу, с ее пузатыми красными и зелеными бутылками и квадратной медной дощечкой: «Доктор Сазерленд Таллох, врач и хирург». Фрэнсис вошел.

В аптеке было сумрачно, пахло алоэ, асафетидой<sup>7</sup> и лакричным корнем. Полки, заставленные темно-зелеными бутылками, занимали одну стену, в конце ее были три деревянные ступеньки, которые вели в маленькую приемную, где доктор Таллох принимал своих пациентов. За длинным прилавком, заворачивая лекарства на мраморной, забрызганной красным сургучом доске, стоял старший сын доктора – крепкий веснушчатый мальчик лет шестнадцати, с большими руками, рыжеватыми волосами и доброй, приветливой улыбкой.

Он и сейчас, здороваясь с Фрэнсисом, широко ему улыбнулся. Потом оба мальчика опустили глаза: каждый избегал взгляда другого, потому что боялся заметить в нем нежность.

– Я опоздал, Уилли! – Фрэнсис упорно смотрел на край прилавка.

– Я и сам опоздал... И мне еще надо разнести эти лекарства по поручению отца, чтоб ему...

Теперь, когда Уилли начал изучать медицину в колледже Армстронга, доктор Таллох с шутиливой торжественностью произвел его в свои помощники.

Наступило молчание. Старший мальчик украдкой взглянул на друга:

– Ну, ты решил что-нибудь?

Фрэнсис все еще не поднимал глаз. Он раздумчиво кивнул, губы его были твердо сжаты.

– Да.

– Ну и правильно, Фрэнсис! – Некрасивое флегматичное лицо Уилли расплылось в одобрительной улыбке. – Я бы не мог вытерпеть так долго!

– Да и я тоже не мог бы... – пробормотал Фрэнсис, – если бы... ну... если бы не дедушка и ты.

Его худое мальчишеское лицо, замкнутое и пасмурное, залилось густым румянцем, когда он порывисто произнес последние слова.

Покраснев от сочувствия, Уилли пробормотал:

– Я нашел поезд для тебя. Есть прямой, выходящий из Олстида каждую субботу в шесть тридцать пять... Тихо... Отец идет.

И он резко оборвал разговор, бросив предостерегающий взгляд на Фрэнсиса.

Дверь приемной отворилась, и доктор, в твидовом пиджаке, появился в дверях: он провозжал своего последнего пациента. Затем Таллох повернулся к мальчикам – резкий, колющий, смуглый, – из его густых волос и блестящих бакенбард, казалось, вылетали заряды переполнявшей его энергии. У него была ужасная репутация самого заядлого во всем городе вольно-

<sup>7</sup> Асафетида (перс. *aza* – смола и лат. *foetida* – дурнопахнущая) – растительная смола, используемая в медицине.

думца, открытого приверженца Роберта Ингерсолла<sup>8</sup> и профессора Дарвина. Это, впрочем, не мешало ему обладать обезоруживающим обаянием и быть в высшей степени знающим врачом.

Доктора очень беспокоили ввалившиеся щеки Фрэнсиса, и поэтому он отпустил одну из своих ужасных шуточек:

– Ну, мой мальчик, вот и еще от одного пациента избавился! О, он еще не умер, нет, но скоро умрет! И такой милый человек, и после него останется большая семья!

Улыбка мальчика вышла слишком натянутой и не понравилась доктору. Он вызывающе подмигнул светлым глазом, вспомнив свое собственное нелегкое отрочество:

– Ну, выше нос, малыш! Не унывай! Через сто лет тебе будет все равно!

Прежде чем Фрэнсис смог ответить, доктор Таллох коротко засмеялся, сдвинул на затылок свою странную прямоугольную шляпу и стал натягивать перчатки. Уже по дороге к своей двуколке он крикнул:

– Обязательно приведи его в девять часов ужинать, Уилл! К ужину горячая синильная кислота!

Часом позже, разнеся лекарства больным, оба мальчика направились к дому Таллохов – обветшалой вилле, выходившей на Луг. Они молчали – их дружба не нуждалась в словах, – потом тихо заговорили о смелых планах на послезавтра. Настроение Фрэнсиса поднялось. Жизнь никогда не казалась ему уж очень враждебной в обществе Уилли Таллоха. Однако, по странному капризу судьбы, их дружба началась с драки. Однажды после школы, когда Уилли в компании своих одноклассников слонялся по Касл-стрит, ему на глаза попала католическая церковь, ничем не выделяющееся, кроме своего безобразия, здание около газового завода.

– Пошли, – закричал он, – у меня есть шестипенсовик! Давайте получим отпущение грехов.

Потом, оглянувшись, Уилли увидел Фрэнсиса и густо покраснел от здорового мальчишеского стыда. Эта глупая шутка вырвалась у него нечаянно и прошла бы незамеченной, если бы не Мэлком Гленни, который прицепился к ней и, искусно разжигая страсти, превратил ее в повод для драки.

Подстрекаемые остальными, Фрэнсис и Уилли схватились в кровавой, без жалобных криков, битве на Лугу. Это был честный бой, и оба противника проявили немалую храбрость. Уже стемнело, а ни один не вышел победителем. Тем не менее каждый ясно чувствовал, что с него довольно. Однако зрители, с присущей юности жестокостью, не согласились на такое завершение ссоры. На следующий вечер, после школы, соперники снова оказались сведены вместе и, подзадориваемые язвительными шуточками об их трусости, вынуждены были колотить друг друга по уже основательно избитым головам. Опять оба были окровавлены, вымотаны, но ни один упорно не хотел признать другого победителем. И так целую ужасную неделю их заставляли состязаться, как бойцовых петухов, на забаву не слишком-то благородных товарищей. Этот жестокий поединок, бессмысленный и бесконечный, превратился для обоих мальчиков в кошмар. Потом, в субботу, они неожиданно встретились лицом к лицу, одни. Минута мучительной душевной борьбы и... земля разверзлась, небеса растворились – они повисли на шее друг у друга.

– Я не хочу драться с тобой, ты нравишься мне, старина! – пробормотал Уилли.

А Фрэнсис тер костяшками пальцев покрасневшие глаза и плакал в ответ:

– Уилли, ты нравишься мне больше всех во всем Дэрроу.

Они уже наполовину пересекли Луг – пустырь, покрытый темной от пыли травой, с заброшенной эстрадой для оркестра в центре, ржавым железным писсуаром в дальнем конце

---

<sup>8</sup> Роберт Ингерсолл (1833–1899) – американский юрист и лектор, защищал научные идеи Ч. Дарвина и Т. Хаксли.

и несколькими лавками, преимущественно без спинок, на которых играли бледные дети и курили, шумно обмениваясь мнениями, бездельники. Вдруг Фрэнсис увидел, что они должны пройти мимо собрания, где выступал с проповедью его дедушка, и у него по коже пошли мурашки. В самом дальнем от писсуара конце пустыря была укреплена небольшая хоругвь с потускневшим позолоченным девизом на красном фоне: «Мир на земле людям доброй воли». Напротив размещались портативная фисгармония и складной стул, на котором восседала с видом жертвы миссис Гленни, а рядом с ней стоял угрюмый Мэлком, сжимая в руках книгу гимнов. Между хоругвью и фисгармонией на низком деревянном помосте возвышался «святой Дэн», окруженный слушателями (их было человек тридцать).

Когда мальчики остановились около этого сборища, Дэниел закончил вступительную молитву и, откинув назад непокрытую голову, начал свою речь. Это была мольба, благородная и прекрасная, выражавшая его заветные убеждения и обнажавшая всю его бесхитростную душу. Учение «святого Дэна» основывалось на призыве к братству и любви к ближнему и к Богу. Люди должны помогать друг другу, нести на землю мир и добрую волю. Если бы только он мог убедить в этом человечество! Он не вступал в спор с церковью, но мягко отстранял ее: главное – не форма, а сущность – смирение и любовь. Да, и терпимость! Ни к чему говорить об этих чувствах, надо жить ими.

Фрэнсису и раньше приходилось слушать выступления своего дедушки, и он всегда испытывал порыв упрямого сочувствия к взглядам «святого Дэна», которые сделали его посмешищем половины города. И сейчас сердце мальчика переполнилось пониманием и любовью, страстным желанием избавить мир от жестокости и ненависти. Поглощенный проповедью, он стоял и слушал, как вдруг заметил, что сбоку подходит Джо Мойр – бригадир заклепщиков. Джо сопровождала шайка, обычно околачивающаяся около винного погреба, вооруженная кирпичами, гнилыми фруктами и промасленным тряпьем, выброшенным из котельной. Мойр был гигант с привлекательной наружностью, но сквернослов и грубиян. Когда он напивался, то развлекался тем, что разгонял всякие благочестивые собрания, происходившие на улице, особенно он недолюбливал Армию спасения. Сейчас он сжимал в кулаке капающее маслом тряпье и кричал:

– Эй, Дэн! А ну-ка, спой и спляши нам!

Глаза Фрэнсиса расширились от возмущения и ужаса. Они хотят сорвать собрание! И ему представилась миссис Гленни, вытаскивающая расквасившийся помидор из мокрых липких волос, он вообразил Мэлкома с залепленным жирной тряпкой противным лицом. Мальчик всем существом испытал дикую радость и ликование.

Потом он увидел лицо Дэниела: тот еще не подозревал об опасности, он весь как бы светился, от него исходила какая-то необычайная сила; его слова, рожденные в глубинах души, беспредельно искренние, были трепетны и взволнованны. Фрэнсис бросился вперед. Сам не зная как и почему, он очутился около Мойра, схватил его за локоть и, задышавшись, стал умолять:

– Не надо, Джо! Пожалуйста, не надо! Мы ведь друзья, Джо, не правда ли?!

– А, черт! – Мойр посмотрел вниз, вдруг его пьяный сердитый взгляд смягчился и стал дружелюбным. – Господи помилуй, Фрэнсис! – С трудом в его голове что-то прояснилось. – Я и забыл, что это твой дед! – Наступила тягостная тишина. Потом Мойр приказал своим спутникам: – Пошли, ребята! Двинем на площадь и займемся аллилуйщиками.

Когда они удалились, захрипела ожившая фисгармония. Никто, кроме Уилли Таллоха, не знал, почему гроза не разразилась. Когда минутой позже они входили в дом, Уилли спросил, пораженный:

– Почему ты это сделал, Фрэнсис?

Тот ответил неуверенно:

– Не знаю... В том, что он говорит, что-то есть... За эти четыре года я видел слишком много ненависти... Мои отец с матерью не утонули бы, если бы люди не ненавидели их... – Он запутался и замолчал, будто стыдясь своих слов.

Уилли молча привел его в столовую. После сумеречной улицы она была полна света, шума и при всем своем беспорядке щедро расточала уют. Это была длинная высокая комната, оклеенная коричневыми обоями, загроможденная поломанной красной плюшевой мебелью, разбитыми и склеенными вазами; шнурок звонка был оборван, на каминной доске разбросаны пузырьки, ярлычки, коробочки от пилюль; на протертом, залитом чернилами аксминстерском ковре<sup>9</sup>, среди игрушек и книг, копошились дети. Хотя было уже почти девять часов, никто из Таллохов еще не спал. Семь младших братьев и сестер Уилли – Джин, Том, Ричард... впрочем, перечислить всех не так-то легко, даже их собственный отец иногда признавал, что не может их всех запомнить, – были заняты самыми разнообразными делами: чтением, письмом, рисованием, поглощением ужина, состоявшего из горячего хлеба с молоком. А их мать Агнесса Таллох, мечтательная пышная женщина с распущенными волосами и открытой грудью, взяла ребенка из колыбельки возле очага, сняла с него мокрую пеленку и стала безмятежно кормить голозатого младенца, тыкающегося носом в ее кремовую в отсветах огня грудь.

Она невозмутимо улыбнулась Фрэнсису:

– Ну вот и вы, мальчики. Джин, дай им тарелки и ложки. Ричард, не приставай к Софи. Да, Джин, милая, дай сухую пеленку для Сазерленда, сними вон оттуда с веревки. И посмотри – кипит ли чайник для тодди<sup>10</sup> отцу. Какая чудесная погода! Правда, доктор Таллох говорит, что кругом очень много больных. Садись, Фрэнсис. Томас! Разве отец не сказал тебе, чтобы ты не подходил близко к другим?!

Доктор вечно заносил домой какие-нибудь болезни: один месяц корь, другой – ветрянку. Сейчас жертвой был шестилетний Томас. Коротко остриженный, пропахший карболкой, он весело сеял заразу стригущего лишая среди всего клана Таллохов.

Втиснувшись на переполненный скрипучий диван около Джин, которая в четырнадцать лет была вылитой матерью, с такой же кремовой кожей и безмятежной улыбкой, Фрэнсис ел хлеб с молоком, приправленным корицей. Он все еще не пришел в себя после недавнего происшествия, в горле у него застрял большой ком, в голове была полная путаница. А этот дом был еще одним вопросом для его перегруженного разума. Почему эти люди были так добры, счастливы и удовлетворены? Воспитанные нечестивым рационалистом в отрицании или, скорее, в полном игнорировании Бога, они были осуждены – адский огонь уже лизал их ноги...

В четверть десятого послышался скрип колес двуколки по гравию. Широкими шагами вошел доктор Таллох. Со всех сторон раздались детские крики, и вокруг него сейчас же образовалась куча-мала. Когда суматоха улеглась, доктор сердечно поцеловал жену и уселся на стул со стаканом тодди в руке; на ногах у него уже были шлепанцы, на коленях сидел и таращил глазенки маленький Сазерленд. Поймав взгляд Фрэнсиса, доктор с дружеской усмешкой поднял стакан:

– Ну, разве я не говорил тебе, что здесь кормят ядом?! И выпивают вовсю, а, Фрэнсис?

Видя отца в хорошем настроении, Уилли не утерпел и рас сказал ему о происшествии на молитвенном собрании. Доктор, улыбаясь, похлопал Фрэнсиса по плечу:

– Молодец, мой маленький католический Вольтер! Я никогда не соглашусь с тем, что ты говоришь, но буду ценой жизни защищать твое право говорить это! Джин, перестань смотреть влюбленными глазами на бедного мальчика. Я думал, ты собираешься стать медицинской сестрой, а ты сделаешь меня дедушкой, когда мне еще не будет сорока! Ну ладно... – Он вдруг

<sup>9</sup> Аксминстерский ковер – тонко простеганный, с бархатистым ворсом.

<sup>10</sup> Тодди (англ.) – напиток из ликера, горячей воды и сахара, часто с добавлением горькой настойки гвоздики или лимона.

вздохнул и выпил за жену. – Мы никогда не попадем на небо, жена, но, по крайней мере, мы живем так, как нам нравится.

Позднее, прощаясь у парадного, Уилли крепко стиснул руку Фрэнсиса:

– Счастливо... Напиши, когда приедешь туда.

На следующее утро, в пять часов, когда было еще темно, на верфи загудел гудок. Его звук протяжно и печально разносился над оцепеневшим в тоске Дэрроу.

Еще не совсем проснувшись, мальчик вскочил с постели, натянул грубые рабочие брюки и, спотыкаясь, спустился вниз. Холод темного утра резко ударил ему в лицо. Уже начинал бледнеть рассвет. Фрэнсис присоединился к молчаливым дрожащим фигурам, с опущенными и втянутыми в плечи головами. Люди направлялись к верфи. Прошли через помост с весами, мимо окошка контролера, в ворота...

Мрачные призраки кораблей на стапелях, смутно виднеясь, поднимались вокруг Фрэнсиса. Около недостроенного корпуса нового броненосца собиралась бригада Джо Мойра: Джо и его помощник-лудильщик, рабочие, два других мальчика-подручных и Фрэнсис.

Фрэнсис разжег древесный уголь, раздул мехи под горном. Молча, нехотя, словно во сне, бригада начала работать. Мойр поднял свой молот, и по всей верфи стал нарастать и усиливаться звенящий стук молотков.

Держа раскаленные добела на жаровне заклепки, мальчик вскарабкивался по лестнице и быстро втыкал их в отверстия в корпусе, где их, расплющивая, крепко забивали молотками. Это была тяжелая работа: у жаровни ребята обжигались до волдырей, на лестницах замерзали. Людям платили сдельно. Нужно было подавать заклепки быстро, быстрее, чем мальчики могли это делать. К тому же заклепки должны были быть достаточно раскалены, а если они были неподатливы, рабочие бросали их обратно в мальчиков. Вверх и вниз по лестнице, к огню и от огня... Обожженный, закоптелый, с воспаленными глазами, задыхаясь и обливаясь потом, Фрэнсис целый день обслуживал заклепщиков.

После полудня работа пошла быстрее. Люди, казалось, отбросили всякую осторожность и не щадили себя: нервы их были напряжены. Последний час прошел в каком-то головокружительном ошеломлении. Мальчик, напрягая слух, ждал гудка с работы.

Наконец, наконец-то он прозвучал! Какое блаженное облегчение! Фрэнсис остановился, облизывая потрескавшиеся губы, оглушенный наступившей тишиной.

Когда он шел домой, весь в саже, потный, сквозь гнетущую усталость пробивалась мысль: завтра... завтра... Глазам его вернулся лихорадочный блеск, он расправил плечи.

Вечером мальчик достал из тайника в печке, которую не топили, деревянный ящичек, вынул из него кучку серебра и медяков (как мучительно долго он их копил!) и сменил их на полсоверена. Фрэнсис нащупал золотую монету в глубоком кармане штанов и крепко сжал ее. От обладания таким богатством его охватила дрожь восторга. Мальчик немедленно попросил у миссис Гленни иголку и нитку. Она сначала по привычке резко осадил его, но необычное поведение Фрэнсиса внушило ей подозрение, и миссис Гленни искоса бросила на него проницательный взгляд:

– Подожди! Там в верхнем ящике есть катушка, около картонки с иглами. Можешь взять. – Она проводила его глазами.

В уединении своей жалкой комнаты с голыми стенами он завернул монету в клочок бумаги и крепко-накрепко зашил ее в подкладку своей куртки. Закончив дело, мальчик ощутил радость и уверенность в себе. Быстрее, чем обычно, Фрэнсис спустился, чтобы отдать нитки миссис Гленни.

На следующий день, в субботу, верфь закрывалась в двенадцать часов. Мысль, что он никогда больше не войдет в эти ворота, наполняла его таким ликованием, что за обедом он почти не мог есть. Фрэнсис чувствовал, что слишком возбужден и охвачен нетерпением и это

может вызвать какой-нибудь колкий вопрос миссис Гленни. Но к его великому облегчению, она ничего не сказала. Как только закончился обед, мальчик незаметно выскользнул из дому, быстро прошел Ист-стрит, а потом пустился со всех ног. Очутившись за городом, он перешел на быстрый шаг. Сердце пело у него в груди.

Подобные жалостные истории всегда до ужаса банальны: бесконечно повторяющееся бегство из несчастливого детства. Но для Фрэнсиса это был путь к свободе. Только бы ему добраться до Манчестера! Там он найдет себе работу на ткацкой фабрике, он был уверен в этом, больше чем уверен.

За четыре часа мальчик прошел пятнадцать миль до железнодорожного узла Олстид. Когда он подходил к станции, часы пробили шесть.

Усевшись под фонарем на пустынной, продуваемой ветром платформе, Фрэнсис открыл перочинный нож, вспорол шов на своей куртке, достал сложенную бумажку и вынул из нее блестящую монету. На платформе появился носильщик, несколько пассажиров, затем открылась билетная касса. Очередь подошла быстро, и вот он уже просит билет.

– Девять шиллингов шесть пенсов, – сказал клерк, штампую кусочек зеленого картона.

Фрэнсис вздохнул облегченно: в конце концов, он не ошибся в цене билета. Он просунул монету сквозь решетку. Кассир выжидательно молчал.

– Ну, в чем дело? Я же сказал: девять шиллингов шесть пенсов.

– Я дал вам полсоверена.

– Да-а?! Ты дал мне полсоверена?! Попробуй-ка еще раз, парень, и я засажу тебя в тюрьму! – Клерк с возмущением швырнул монету обратно. Это были не полсоверена, а новенький блестящий фартинг.

В мучительном оцепенении мальчик смотрел, как подошел поезд, как в него погрузили багаж, как он, дав свисток, ушел в ночь.

Голова его разламывалась от путаницы мыслей: тупо продираясь сквозь этот клубок, Фрэнсис вдруг наткнулся на решение загадки: шов, который он вспорол, был зашит не его неуклюжими стежками, а другими – частыми и ровными. Мальчика словно озарило: он знает, кто взял деньги, – миссис Гленни!

В половине десятого за шахтерской деревней Сэндерстон, в густом мокром тумане, сквозь который не пробивался даже свет фонарей, человек в двуколке чуть не наехал на одинокую фигурку, бредущую посреди дороги. Лишь один человек мог оказаться в таком месте в такую ночь: доктор Таллох, сдерживая свою испуганную лошадь и свесившись с козел, всматривался сквозь туман; поток ругательств, которым он разразился с полным знанием дела, вдруг иссяк.

– Великий бог Гиппократ! Это ты! Влезай! Ну, живо, пока кобыла не вывернула мне руки из суставов!

Таллох укутал своего пассажира пледом и отправился в путь, не задавая ему лишних вопросов, – он знал целительную силу молчания.

Около половины одиннадцатого Фрэнсис пил горячий бульон у огня в столовой доктора. Сейчас, покинутая своими обитателями, комната была так неестественно тиха, что кошка мирно спала на коврик перед камином. Минуту спустя вошла миссис Таллох; волосы ее были заплетены в косы, на ночную рубашку надет незастегнутый халат. Она встала рядом с мужем, вглядываясь в смертельно усталого мальчика, который погрузился в странную апатию и, казалось, не замечал ни их присутствия, ни их тихого разговора. Доктор подошел к нему, вынул стетоскоп и, по своему обыкновению, сказал с комическими ужимками:

– Даю голову на отсечение, что этот твой кашель – одно притворство.

Фрэнсис попытался улыбнуться, но не смог. Однако он послушно расстегнул рубашку и позволил доктору выстукавать и выслушать его легкие. Когда Таллох выпрямился, его мрачное

лицо приняло странное выражение. Весь его неистощимый запас юмора непостижимым образом улетучился. Он бросил быстрый взгляд на жену, закусил губу и внезапно дал кошке пинка.

– А, будь все это проклято! – закричал он. – Мы изнуряем наших детей на постройках военных кораблей! Мы эксплуатируем их в шахтах и на ткацких фабриках! Мы, христианская страна! Нет уж! Я горжусь тем, что я безбожник! – Он резко, почти свирепо повернулся к мальчику. – Слушай, Фрэнсис, кто эти люди, которых ты знал в Тайнкасле? Как, Бэннон, да? «Юнион-таверна»? Теперь ступай домой и сейчас же в постель, если не хочешь подцепить пневмонию.

Мальчик пошел домой. Всякое сопротивление в нем было раздавлено. Всю следующую неделю миссис Гленни ходила с лицом мученицы, а Мэлком носил новый клетчатый жилет ценой в полсоверена.

Для Фрэнсиса это была ужасная неделя. Левый бок у него болел, особенно при кашле. Ему приходилось через силу тащиться на работу. Он смутно догадывался, что дед ведет бой за него. Но Дэниел потерпел полное поражение. Маленькому пекарю не оставалось ничего другого, как смиренно подсовывать ему пирожные с вишнями, которых мальчик не мог есть. Больше Дэниел ничего не мог сделать.

Когда снова настала суббота, у Фрэнсиса не было сил выйти на улицу. Он лежал наверху в своей комнате, с безнадежной апатией глядя в окно. Вдруг он вскочил. Он еще не верил, но сердце его уже громко стучало. Внизу, на улице, медленно приближаясь, словно барка в чужих и опасных водах, плыла шляпа – шляпа, которую нельзя забыть, единственная, которую не спутаешь ни с какой другой. Да-да! И зонтик с золотой ручкой, туго свернутый, и короткий котиковый жакет с плетеными пуговицами. Он слабо вскрикнул бледными губами:

– Тетя Полли!

Внизу скрипнула дверь. Фрэнсиса знобило, но он поднялся на ноги, прокрался вниз и, стараясь удержать равновесие, спрятался позади застекленной до половины двери. Полли стояла посреди комнаты, очень прямая, с поджатыми губами, и обводила глазами лавку с таким видом, будто ее очень забавлял этот осмотр. Миссис Гленни привстала ей навстречу. Мэлком развалился на прилавке, полуоткрыв рот, и изумленно переводил глаза с одной на другую. Наконец взгляд тети Полли остановился где-то над головой булочницы.

– Миссис Гленни, если не ошибаюсь?

Миссис Гленни выглядела весьма неприглядно: в грязном утреннем капоте, ворот блузки расстегнут, на талии повисла развязавшаяся тесемка.

– Что вам угодно?

Тетя Полли подняла брови:

– Я приехала повидать Фрэнсиса Чисхолма.

– Его нет дома.

– В самом деле? Ну что же, я подожду его.

Тетя Полли устроилась на стуле около прилавка, словно приготовилась ждать хоть целый день. Наступило молчание. Лицо миссис Гленни пошло грязно-красными пятнами. Она вполголоса сказала сыну:

– Мэлком! Сходи в пекарню и приведи отца.

Тот отрывисто ответил:

– Он пять минут назад ушел в миссионерское общество и не вернется до чая.

Полли отвела взгляд от потолка и начала с критическим видом рассматривать Мэлкома. Она слегка улыбнулась, когда он покраснел, и, удовлетворенная, стала смотреть в другую сторону. Булочница проявила первые признаки замешательства – она сердито вспыхнула:

– Мы здесь люди занятые, не можем сидеть тут с вами целый день. Я вам сказала, что мальчика нет дома. Очень возможно, что он вернется поздно, – он завел себе такую компа-



нию... Фрэнсис просто замучил меня своими поздними отлучками и дурными привычками. Правда, Мэлком?

Мэлком угрюмо кивнул.

– Вот видите! – стремительно продолжала миссис Гленни. – Если бы я вам все рассказала, вы были бы поражены. Но это не важно – мы христиане, мы заботимся о нем. Даю вам слово, что он совершенно здоров и счастлив.

– Очень рада слышать это, – сказала тетя Полли, чопорно, вежливо прикрывая зевок перчаткой, – потому что я приехала забрать его.

– Что? – Ошеломленная миссис Гленни теребила ворот блузки, то краснея, то бледнея.

– У меня имеется врачебная справка, – провозгласила тетя Полли грозно, с убийственным выражением, – что мальчик изнурен, переутомлен и что ему угрожает плеврит.

– Это ложь!

Полли вытянула из муфты письмо и многозначительно похлопала по нему ручкой зонтика:

– Вы умеете читать по-английски?

– Это ложь, отвратительная ложь! Он такой же откормленный и упитанный, как мой собственный сын.

Но тут произошла заминка: Фрэнсис, прижавшийся к двери и следивший за происходящим в томительном ожидании, оперся слишком тяжело на шаткую щеколду. Дверь открылась – и он вылетел на середину комнаты. Воцарилось молчание. Сверхъестественное спокойствие тети Полли усугубилось.

– Подойди ко мне, мальчик. И перестань дрожать. Ты хочешь остаться здесь?

– Нет, не хочу.

Полли посмотрела на потолок:

– Тогда иди и уложи свои вещи.

– Мне нечего укладывать.

Полли медленно встала, натягивая перчатки:

– Тогда нас ничто не задерживает.

Миссис Гленни, побелев от ярости, шагнула вперед:

– Вы не смеете так поступать со мной! Я подам в суд!

– Валяйте, моя милая. – Полли многозначительно убрала письмо в муфту. – Может быть, тогда мы узнаем, сколько из тех денег, что получили за мебель бедной Элизабет, вы потратили на ее сына и сколько на вашего.

Снова наступило убийственное молчание. Жена булочника стояла бледная, злобная, потерпевшая поражение, прижимая руку к груди.

– Да пусть он уходит, мать, – прохныкал Мэлком, – хорошо, что избавимся от него.

Тетя Полли, покачивая зонтиком, осмотрела его с головы до пят.

– Молодой человек, вы дурак! А вы, моя милая, – сказала она, поглядев поверх головы булочницы, – ничуть не умнее.

Взяв Фрэнсиса за плечо, она с триумфом вывела его, без шапки, из магазина.

Так они проследовали до станции. Ее рука, затянута в перчатку, так крепко вцепилась в его рукав, будто он был каким-то редкостным созданием, которое она поймала и которое могло в любой момент ускользнуть от нее. Около станции она, не произнеся ни слова, купила ему пакет сухого печенья с тмином, капли от кашля и совершенно новую шляпу-котелок. В поезде тетя Полли сидела напротив него – безмятежная, неповторимая, выпрямившаяся – и смотрела, как он мочил печенье слезами благодарности, почти скрытый своей шляпой, которая сползала ему на самые уши. Полузакрыв глаза, она заметила:

– Я всегда знала, что эта тварь не леди. Это у нее на роже написано. Ты совершил ужасную ошибку, дорогой мой Фрэнсис, позволив ей так подчинить себя. Теперь первым делом тебя нужно подстричь!

## 3

Чудесно было в эти морозные утра лежать в теплой постели в ожидании, пока тетя Полли не принесет завтрак – большую тарелку еще шипящей яичницы, бекон, горячий черный чай и грудку тостов с пылу с жару – все это на овальном металлическом подносе с вычеканенной надписью: «Старый эль Олгуда». Иногда он просыпался рано, весь во власти охватившего его страха, потом приходило блаженное сознание, что ему теперь нечего бояться гудка. Всклипнув от облегчения, он еще глубже зарывался в толстое желтое шерстяное одеяло в своей уютной спальне и рассматривал обои с душистым горошком, крашенные полки, вышитый шерстью коврик, маленький фарфоровый сосуд со святой водой и заткнутой возле него веточкой пасхальной вербы около двери, литографии на стенах (на одной – лошадь с пивоваренного завода в Олгуде, на другой – папа Григорий). Боль в боку у Фрэнсиса прошла, кашлял он редко, и щеки его начали округляться. Досуг был непривычен ему, как и ласка, и, хоть его тревожила неопределенность его будущего, он принимал его с благодарностью.

Было прекрасное утро последнего октябрьского дня. Тетя Полли уселась на краешек его кровати, убеждая его поесть:

– Заправляйся хорошенько, мальчик. Это все нарастет на твои ребрышки.

На тарелке лежали три яйца и хорошо поджаренный, хрустящий бекон – он и забыл, что еда может быть такой вкусной. Устанавливая поднос на коленях, Фрэнсис почувствовал в тете Полли какую-то необычную праздничность. Когда он поел, она с глубокомысленным видом сказала:

– А у меня есть для вас новости, молодой человек, если вы, конечно, в состоянии вынести их.

– Новости, тетя Полли?

– Немножко волнения, чтобы развеселить тебя после целого месяца скуки с Нэдом и со мной. – Она снисходительно улыбнулась, увидев живой протест в его теплых карих глазах. – Ну, не можешь отгадать, что это?

Мальчик разглядывал ее с глубокой привязанностью, которую она пробудила в нем своей неустанной добротой. Некрасивое худое лицо, длинная верхняя губа с пушком над ней, волосатое пятно на щеке – все это теперь казалось ему прекрасным.

– Я не могу догадаться, тетя Полли!

Она рассмеялась своим коротким резким смешком, тихонько пофыркивая от удовольствия, что ей удалось возбудить его любопытство.

– Что случилось с твоими мозгами, мальчик? Наверное, ты слишком много спишь, и они у тебя подпортились.

Он счастливо улыбнулся, совершенно соглашаясь с ней. И правда, до сих пор его жизнь, подчиненная режиму поправляющегося больного, была очень спокойна. Тетя Полли сильно опасалась за его легкие – она боялась чахотки, которая нередко поражала ее семью, – и поэтому он обычно лежал в постели до десяти часов. Одевшись, Фрэнсис сопровождал тетю Полли в походах за покупками. Это было величественное шествие по главным улицам Тайнкасла, а так как Нэд любил поест и признавал только первоклассную еду, выбор птицы и мяса для стола производился с большой придирчивостью. Такие экскурсии помогали Фрэнсису многое узнавать. Он видел, например, что тете Полли доставляло удовольствие, что ее знают в лучших магазинах и с ее желаниями считаются. Немного отчужденная и чопорная, она ждала, пока не освободится ее любимый приказчик и не обслужит ее. Не только в поступках, но и в одежде тетя Полли старалась походить на леди, быть изысканной. Правда, платья, которые шила для нее местная портниха, были столь безвкусны, что порой вызывали скрытые насмешки «простонодаря». На улице она пользовалась целой серией поклонов различных оттенков. Если кто-

нибудь из местных персон – землемер, санитарный инспектор или главный констебль – узнавал ее и здоровался с ней, тетя Полли испытывала большую, хотя и тщательно скрываемую радость. Выпрямившись, с трепещущей птичкой на шляпе, она шептала Фрэнсису:

– Это был мистер Остин, директор трамвайного парка, приятель твоего дяди... Очень милый человек.

Наивысшее же удовольствие Полли получала, когда Джеральд Фицджеральд, красивый, представительный священник из церкви Святого Доминика, при встрече одаривал ее любезной, несколько снисходительной улыбкой. Каждое утро они заходили в церковь, и, стоя на коленях и стараясь не смотреть на нее, Фрэнсис тем не менее замечал поглощенное молитвой лицо тети Полли, беззвучно шепчущие губы, благоговейно сложенные грубые, потрескавшиеся руки. Потом она покупала что-нибудь для него: пару крепких башмаков, книгу, мешочек анисовых лепешек. Когда он протестовал, часто со слезами на глазах, видя, как она открывает свой потрепанный кошелек, тетя Полли просто стискивала его руку и качала головой:

– Твой дядя и слушать не захочет твоих отказов.

Она трогательно гордилась своим родством с Нэдом и своей причастностью к «Юнион-таверне». «Юнион» стояла около доков, на углу Кэнел-стрит и Дайк-стрит, откуда открывался великолепный вид на соседние многоквартирные дома, угольные баржи и конечную станцию новой конки. Оштукатуренное здание коричневого цвета было двухэтажным, и Бэнноны жили над таверной. Каждое утро в половине восьмого Мэгги Мэгун, уборщица, открывала бар и начинала убирать его, разговаривая при этом сама с собой. Ровно в восемь спускался Нэд Бэннон, в подтяжках, но чисто выбритый, с напомаженными волосами, и начинал посыпать пол свежими опилками из ящика, стоящего за стойкой, в чем не было никакой необходимости, но это был своего рода ритуал. Потом он просматривал утреннюю газету, брал молоко и шел через задний двор кормить своих гончих. У него их было тринадцать – в доказательство того, что он не суеверен.

Вскоре начинали появляться завсегдатаи. В авангарде всегда ковылял к любимому углу на своих кожаных мягких кульнях Скэнти Мэгун. За ним приходили несколько докеров и один-два вагоновожатых, возвращавшихся с ночной смены. Этот рабочий люд не задерживался: они оставались здесь ровно столько, сколько надо, чтобы пропустить глоток спиртного и запить его стаканом или пинтой пива. Но Скэнти оставался надолго. Он сидел и смотрел на Нэда, стоящего за стойкой из темного дерева с надписью в рамке: «Если джентльмены ведут себя по-джентльменски, то и другие должны», вежливого, но не замечающего его, как смотрит с умильным видом верный сторожевой пес на своего хозяина.

В свои пятьдесят лет Нэд был большой толстый мужчина, с полным желтоватым лицом и выпуклыми глазами, взгляд которых отличался спокойствием и торжественностью, под стать его темной одежде. Он не имел качеств, обычно приписываемых трактирщику: не был ни чрезмерно радушен, ни фальшиво приветлив. Нэд держался с каким-то величавым достоинством. Он гордился своей репутацией и своим заведением. Когда он был еще мальчиком, то узнал и нужду и голод. Несколько лет подряд был неурожай картофеля, и его родителям пришлось покинуть Ирландию. Однако вопреки исключительно неблагоприятным обстоятельствам он преуспел в жизни. У Нэда был свободный от долгов дом, он ладил с местными властями и пивоварами, имел много влиятельных друзей. Нэд Бэннон, в сущности, являлся доказательством того, что питейное дело вполне респектабельно. Он был непреклонен с жаждущими выпить юнцами и грубо отказывался обслуживать любую женщину моложе сорока лет. «Семейного отделения» в «Юнион-таверне» не было. Нэд ненавидел беспорядок и при первом намеке на него начинал сердито стучать по стойке старым ботинком, всегда находящимся под рукой для этой цели, и стучал до тех пор, пока снова не водворялся порядок. Хотя он и сам был не дурак выпить, никто не видел его пьяным. Разве только его ухмылка становилась шире да глаза немного блуждали в те редкие вечера, которые он считал «случаями» для выпивки – например,

День святого Патрика<sup>11</sup>, или День Всех Святых, или после собачьей выставки, если одна из его гончих прибавляла новую медаль к той коллекции, что на тяжелой часовой цепочке висела у него поперек живота. Во всяком случае, на другой день Нэд ходил с робким видом и посылал Скэнти за отцом Кланси, помощником приходского священника церкви Святого Доминика. Исповедовавшись в задней комнате, он тяжело поднимался, отряхивал пыль с коленей и совал в руку молодого священника золотой для бедных. Нэд испытывал здоровое уважение к духовенству, а отец Фицджеральд, настоятель их прихода, внушал ему благоговейный страх.

Нэд считался человеком зажиточным: он хорошо ел, щедро подавал и, не слишком доверяя акциям и процентным бумагам, вкладывал деньги в «кирпичи и известку». Поскольку Полли была достаточно обеспечена тем, что было ей оставлено Майклом, ее материальное положение его не тревожило.

Хотя Нэд с трудом привязывался к людям, Фрэнсис, по его собственному осторожному выражению, расположил его к себе. Ему нравилась ненавязчивость мальчика, его немногословие, спокойная манера держаться, молчаливая благодарность. Хмурость юного лица, когда мальчик не знал, что на него смотрят, заставляла Нэда озадаченно морщить лоб и почесывать затылок.

После обеда, когда солнце уже склонялось к церкви, Фрэнсис часто сидел с ним в полупустом баре, осоловевший от сытной пищи, и вместе со Скэнти слушал добродушную болтовню Нэда. Скэнти Мэгун, муж и тяжкая обуза почтенной, но глуповатой Мэгги, был прозван так из-за того, что ему кое-чего недоставало<sup>12</sup> – фактически тело его кончалось туловищем. Он потерял ноги вследствие гангрены, вызванной какой-то неизвестной болезнью кровообращения. Однако Скэнти сумел извлечь выгоду из своего недуга, незамедлительно запродав себя докторам и подписав документ, в силу которого после его смерти они получают его тело для анатомирования. Коль скоро деньги, вырученные от этой сделки, были пропиты, на старого болтливового неудачника легла какая-то зловещая тень. Все стали смотреть на него со страхом, а хитрый бездельник начал возмущаться (в особенности когда был навеселе) и громко заявлять, что его обманули:

– Я продешевил! Проклятые спекулянты! Но им никогда не заполучить бедного старого Адама. К черту страх! Завербуюсь матросом и утоплюсь!

Иногда Нэд позволял Фрэнсису нацедить пива Скэнти, отчасти из милосердия, отчасти из желания доставить мальчику удовольствие от возни с «машиной». Когда ручка из слоновой кости возвращалась назад и кружка наполнялась, Скэнти с беспокойством кричал:

– Сделай на ней пену, мальчик!

А пенистое пиво пахло такпряно и вкусно, что Фрэнсису хотелось попробовать его. Нэд наливал ему пива, а потом весело улыбался, глядя на скривившееся лицо племянника.

– Надо войти во вкус, – важно утверждал он.

У него был целый набор таких избитых фраз, начиная с «Женщины и пиво несовместимы» до «Лучший друг человека – его фунтовая банкнота».

Благодаря частому повторению и свойственной им глубокой «мудрости» эти изречения считались настоящими афоризмами.

Самая сильная, самая нежная привязанность Нэда принадлежала Норе, дочери Майкла Бэннона. Нэд всецело посвятил себя племяннице, потерявшей брата, когда ей было три года, а еще через два года она лишилась отца. Оба умерли от туберкулеза, этой смертоносной болезни, столь губительной для кельтской расы. Он воспитал ее и тринадцати лет послал в монастырь Святой Елизаветы, при котором был лучший пансион в Нортумберленде. Нэд чрезвычайно гордился, что платит за учебу Нору так дорого. С нескрываемым удовлетворением он наблю-

<sup>11</sup> День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире. – Прим. ред.

<sup>12</sup> Скэнти (англ. scanty) в переводе с английского означает «недостаточный».

дал за успехами своей любимицы. Когда она приезжала домой на каникулы, Бэннон преобращался: он делался живее, его никогда не видели в подтяжках, он непрестанно придумывал какие-нибудь экскурсии, изобретал развлечения и, чтобы – не дай бог! – что-нибудь не оскорбило Нору, становился гораздо строже в пивной.

– Ну... – немного укоризненно посмотрела тетя Полли на Фрэнсиса, – вижу, что придется все сказать тебе. Во-первых, твой дядя решил сегодня позвать гостей, чтобы отпраздновать День Всех Святых... и... – Она на миг опустила глаза. – И... еще по одной причине. У нас будет гусь, большая сдобная булка, изюм для игры в снэпдрегон<sup>13</sup> и, конечно, яблоки. Дядя покупает особенные яблоки в саду Лэнга в Госфорте. Может быть, ты сходишь туда за ними сегодня днем? Это очень приятная прогулка.

– Конечно, тетя Полли. Только я не очень хорошо представляю себе, где это.

– Кое-кто проводит тебя туда. – Она сдержанно выложила главный сюрприз: – Кто-то, кто приедет домой из школы, чтобы провести с нами длинный уик-энд.

– Нора! – закричал он.

– Она самая, – кивнула тетя Полли, взяла его поднос и встала. – Дядя страшно доволен этим. А теперь одевайся побыстрее, как пай-мальчик. В одиннадцать часов мы все пойдем на станцию встречать маленькую обезьянку.

Когда она ушла, Фрэнсис продолжал лежать, глядя прямо перед собой, в какой-то непонятной растерянности. Неожиданное сообщение о приезде Норы застало его врасплох и пробудило в нем неожиданное волнение. Конечно, она ему всегда нравилась. Но сейчас предстоящая встреча с ней наполняла его каким-то необычным новым чувством: с одной стороны, ему очень хотелось увидеть ее, но вместе с тем он робел. К своему изумлению и смущению, мальчик вдруг почувствовал, что краснеет до корней волос. Он поспешно вскочил и начал натягивать свои одежды.

Фрэнсис и Нора отправились за яблоками в два часа. Они проехали на трамвае через весь город до пригородного местечка Клермонт. Потом деревенским проселком направились к Госфорту. Взявшись за ручки большой плетеной корзины, дети несли ее, раскачивая из стороны в сторону.

Фрэнсис не видел Нору целых четыре года. Сегодня за завтраком, когда Нэд превзошел самого себя в тяжеловесном юморе, он сидел, скованный каким-то дурацким косноязычием, да и сейчас все еще мучительно стеснялся ее. Фрэнсис помнил ее еще ребенком. Теперь ей было почти пятнадцать, и в своей длинной темно-синей юбке и корсаже она казалась совсем взрослой и более неуловимой и непонятной, чем когда-либо раньше. У нее были маленькие руки и ноги и маленькое живое, пикантное личико, которое мгновенно из очень смелого делалось странно робким. Хотя Нора была высока и неуклюжа, как все подростки, она была тонкой и стройной. Особенно выделялись непостижимо синие на бледном лице дразнящие глаза. Сейчас, на холоде, они, казалось, искрились, а маленькие ноздри порозовели.

Когда его пальцы случайно дотрагивались до Нориных, Фрэнсис испытывал горячее смущение. Никогда еще не ощущал он ничего более приятного, чем прикосновение ее рук. Фрэнсис не мог говорить и не смел взглянуть на нее, хотя иногда чувствовал, как она смотрит на него и улыбается. Золотой пожар осени уже погас, но леса все еще сохраняли красный отсвет последних угольков. Никогда еще краски деревьев, полей, неба не казались мальчику такими яркими, они словно пели у него в душе.

Вдруг Нора расхохоталась и, отбросив волосы назад, бросилась бежать. Связанный с ней корзиной, он, как ветер, несся рядом.

---

<sup>13</sup> Снэпдрегон (англ.) – святочная игра, в которой хватают изюминки с блюда с горящим спиртом.

– Не обращай на меня внимания, Фрэнсис, – сказала она, наконец остановившись и задыхаясь. Ее глаза сверкали, как иней солнечным утром. – Я иногда бешусь вот так, ничего не могу с собой поделать. Может быть, это оттого, что я избавилась от школы.

– Разве тебе там не нравится?

– Мне и нравится и не нравится. Там и весело и строго. Ты можешь себе представить, – засмеялась она простодушно и одновременно смущающе, – они заставляют нас надевать ночные рубашки, когда мы купаемся. Скажи-ка, ты думал когда-нибудь обо мне за то время, что мы не виделись?

– Д-да, – ответил он, запинаясь.

– Я рада этому. Я тоже думала о тебе. – Девочка быстро взглянула на него, будто хотела что-то сказать, но промолчала.

Вскоре они добрались до цели своего путешествия. Джорди Лэнг, добрый приятель Нэда и владелец сада, жег пожухлую листву. Он заметил ребят из-за полуоблетевших деревьев и дружелюбно кивнул им, приглашая присоединиться к нему. Они стали сгребать шуршащие коричневые и желтые листья к большой тлеющей куче, которую Лэнг уже соорудил, до тех пор пока дым не пропитал их одежду. Это была не работа, а восхитительная игра. Забыв недавнее смущение, дети состязались в том, кто больше нагребет. Когда у Фрэнсиса уже была большая копна листьев, озорница Нора отгребла ее к себе. Их смех звенел в свежем прозрачном воздухе. Джорди Лэнг только широко ухмылялся:

– Таковы женщины, мальчуган. Отобрала твою кучу да еще смеется над тобой.

Наконец Лэнг поманил их к деревянному сараю в конце сада, где складывались яблоки.

– Вы заработали себе на пропитание. Идите и угощайтесь! – крикнул он им. – И передайте мое почтение мистеру Бэннону. Скажите ему, что я загляну как-нибудь на этой неделе пропустить плоточек.

В сарае стоял мягкий сумеречный полумрак. Они влезли по приставной лестнице на чердак, где на соломе были разложены бесчисленные ряды пепинов Рибстона<sup>14</sup>, которыми славился сад.

Пока, согнувшись под низкой крышей, Фрэнсис наполнял корзину, Нора уселась, скрестив ноги, на солому, выбрала яблоко, потерла его до блеска о свое худенькое бедро и принялась есть.

– Вот это да! – сказала она. – Попробуй-ка, Фрэнсис.

Он сел напротив и взял яблоко, которое она ему протянула. Оно действительно было необыкновенно вкусным. Они ели, весело разглядывая друг друга. Когда мелкие зубы Норы прокусывали янтарную кожицу и вонзались в белую хрустящую мякоть, тоненькие струйки сока стекали у нее по подбородку. На этом маленьком темном чердаке мальчик уже не так смущался. Ему было тепло и хорошо, словно во сне. Он никогда не испытывал подобного чувства, как в тот момент, когда ел яблоко, которое она передала ему. Радость жизни переполняла его. Их глаза, непрестанно встречаясь, улыбались, но у нее это была какая-то странная полуулыбка, как бы уходящая внутрь, будто она улыбалась самой себе.

– А ну-ка, съешь эти семечки, – вдруг поддразнила она, а потом быстро сказала: – Нет-нет, Фрэнсис, не надо. Сестра Маргарет Мэри говорит, что от этого делаются колики. Кроме того, из каждого такого семечка вырастет яблоня. Вот забавно, верно? Слушай, Фрэнсис, ты любишь Полли и Нэда?

– Очень. – Он удивленно посмотрел на нее. – А ты разве не любишь?

– Люблю, конечно... Мне только не нравится, когда Полли трясется надо мной каждый раз, как я закашляю... И еще я терпеть не могу, когда Нэд сажает меня на колени и ласкает... –

---

<sup>14</sup> *Пепин Рибстона* – зимний десертный сорт яблок. – *Прим. ред.*



Она запнулась и впервые опустила глаза. – Вообще-то, все это глупости, я не должна так говорить. Сестра Маргарет Мэри считает меня бесстыдной, а ты тоже так считаешь?

Фрэнсис смущенно отвел глаза. С мальчишеским пылом он отверг обвинение одним вырвавшимся сразу словом:

– Нет!

Девочка улыбнулась почти робко:

– Мы с тобой друзья, Фрэнсис, поэтому я скажу тебе: плевать на старую Маргарет Мэри! Скажи мне, когда ты будешь взрослым, кем ты собираешься стать?

Он изумленно вытаращил на нее глаза:

– Не знаю. А что?

Она с внезапным волнением принялась теребить подол платья.

– А, ерунда... Только... ну... ты мне нравишься. Ты мне всегда нравился. Все эти годы я очень много думала о тебе и было бы очень неприятно, если бы ты... опять исчез.

– Да почему же я должен исчезнуть? – засмеялся он.

– Ты сейчас здорово удивишься! – Ее все еще детские глаза широко открылись. – Я знаю тетю Полли... И сегодня я опять слышала, как она говорила, что отдала бы все на свете, лишь бы сделать тебя священником. А тогда тебе придется от всего отказаться, даже от меня.

Прежде чем Фрэнсис смог что-нибудь ответить, она вскочила на ноги и стала отряхиваться с напускным оживлением:

– Ну, пошли. Что мы как дураки сидим тут целый день! Просто смешно, когда на улице светит солнышко, да к тому же у нас сегодня гости. – (Он хотел встать.) – Нет, подожди минутку. Закрой глаза, и ты что-то получишь.

И не успел Фрэнсис выполнить ее требование, как Нора молниеносно нагнулась и быстро чмокнула его в щеку. Его ошеломило это быстрое теплое прикосновение, ощущение ее дыхания, близость ее худого личика с крошечной коричневой родинкой на щеке. Вся ярко вспыхнув, она неожиданно скользнула вниз по лестнице и выбежала из сарая. Фрэнсис медленно последовал за ней, густо покраснев и потирая маленькое влажное пятнышко на щеке, словно это была рана. Сердце его громко стучало.

Вечеринка в честь Дня Всех Святых началась в семь часов. Нэд, как дозволено человеку, наделенному абсолютной властью, закрыл бар на пять минут раньше назначенного срока. Всех посетителей, за исключением немногих избранных, попросили уйти. Гости собрались наверху в гостиной, украшенной стеклянными коробками восковых фруктов, портретом Парнелла<sup>15</sup> на потолке, над люстрой голубого стекла, фотографией Нэда и Полли в бархатной рамке, запечатлевшей их в прогулочной машине из мореного дуба, – в память о посещении Килларни, аспидистой<sup>16</sup> и лакированной дубинкой, что висела рядом на зеленой ленте. Массивная мягкая мебель испускала клубы пыли, когда на нее садились всей тяжестью. Стол красного дерева с толстыми ножками, похожими на страдающих водянкой женщин, был раздвинут и накрыт на двадцать персон. Жар от угля, которым чуть не доверху набили камин, мог бы довести до изнеможения даже исследователя Африки. Вкусно пахло жарким из птицы. Мэгги Мэгун, в чепце и фартуке, носилась как угорелая. В переполненной комнате находились: молодой священник отец Кланси, Тадеус Гилфойл, несколько местных торговцев, мистер Остин, директор трамвайного парка, с женой и тремя детьми, а также, само собой разумеется, Нэд, Полли, Нора и Фрэнсис.

Посреди этого шума и суматохи стоял с шестипенсовой сигарой во рту Нэд, излучая благоволение. Он что-то говорил нравоучительным тоном своему другу Гилфойлу – бледному

---

<sup>15</sup> Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) – ирландский политический деятель, лидер движения за автономию Ирландии (home rule) в 1877–1890 гг., «некоронованный король Ирландии».

<sup>16</sup> Аспидистра – род многолетних стебельчатых трав семейства лилейных.

молодому человеку лет тридцати, слегка простуженному, весьма прозаического вида. Он был клерком на газовом заводе, а в свободное время собирал плату с жильцов дома на Вэррел-стрит, принадлежащего Нэду. Еще Тадеус прислуживал в церкви Святого Доминика. На него твердо можно было рассчитывать: он всегда готов был оказать услугу или выполнить случайное поручение, постоянно всем поддакивал, так как в голове у него не было ни одной мысли, которую он мог бы назвать своей собственной, он не знал противоречий, однако неизменно как-то ухитрялся оказываться там, где был нужен, – скучный и надежный, кивающий в знак согласия, с не проходящим никогда насморком, с привычкой теребить пальцами значок какого-то религиозного братства, с рыбьими глазами и плоскими ступнями, торжественный и положительный, словом, Гилфойл был, что называется, степенным человеком.

– Вы сегодня скажете речь? – спрашивал он Нэда таким тоном, который давал понять, что если Нэд речи не скажет, то мир будет безутешен.

– Ах, я, право, не знаю, – со скромным, но многозначительным видом ответил Нэд, созерцая кончик своей сигары.

– Нет уж, вы скажете, Нэд!

– Гости вовсе и не ждут этого.

– Простите, Нэд, но я осмелюсь не согласиться с вами, – торжественно заявил Гилфойл.

– Вы думаете, я должен сказать?

– Нэд! Вы должны сказать, и вы скажете!

– Вы думаете, мне следовало бы...

– Вам следует, Нэд, и вы это сделаете.

Очень довольный, Бэннон перекачивал во рту сигару.

– Вообще-то, мне нужно... – он многозначительно подмигнул, – мне нужно объявить... Я хочу сделать одно важное сообщение. И раз уж вы меня вынуждаете, я скажу потом несколько слов.

В виде своего рода увертюры к главному событию дня дети с Полли во главе начали игры, традиционные для Дня Всех Святых. Сначала играли в снэпдрегон, пытаясь выхватить плоские синие изюминки из пламени горящего на большом фарфоровом блюде спирта. Потом играли в «ныряющее яблоко», бросая зубами вилку через спинку стула в лохань с плавающими яблоками. В семь часов явились ряженные. Это были рабочие ребята, с вымазанными сажей лицами, в нелепых нарядах, – они ходили из дома в дом с пением и пантомимами, как полагалось по традиции в канун Дня Всех Святых. Эти парни знали, чем угодить Нэду. Они спели «Милый маленький трилистник», «Кэтлин Мэворнин» и «Дом Мэгги Мэрфи», за что получили щедрые дары и, громко топая, ушли.

– Спасибо, мистер Бэннон! Да здравствует «Юнион»! Спокойной ночи, Нэд!

– Хорошие ребята! Все они, как один, хорошие ребята. – Нэд потирал руки, глаза его были увлажнены, потому что, как всякий потомок кельтов, он был сентиментален. – Однако, Полли, у наших друзей уже подвело животы!

Наконец, когда вся компания уселась за стол и отец Кланси прочел молитву, Мэгги Мэгун с трудом внесла самого большого гуся в Тайнкасле. Фрэнсис никогда еще не ел такого – он был восхитительно ароматен и просто таял во рту. Тело Фрэнсиса приятно горело от долгой прогулки на свежем воздухе и от какой-то звенящей внутренней радости. Время от времени его глаза застенчиво встречались через стол с глазами Норы. Фрэнсис поражался, как глубоко они с Норой без слов понимали друг друга. Хотя сам он был очень тих, ее веселость возбуждала его. Чудо этого счастливого дня, тайная нить, протянувшаяся между ними, наполняли его чувством, похожим на боль.

Когда ужин был закончен, Нэд медленно поднялся. Его встретили аплодисментами. Он встал в позу оратора, засунув большой палец правой руки под мышку. Его волнение производило нелепое впечатление.

– Ваше преподобие, леди и джентльмены! Благодарю вас всех и каждого в отдельности. Я не умею говорить. – (Крик Тадеуса Гилфойла: «Нет-нет!») – Я говорю, что думаю, и думаю, что говорю. – Во время маленькой паузы Нэд собирается с духом. – Я люблю, когда вокруг меня мои друзья, когда они счастливы и довольны, – хорошая компания и хорошее пиво никогда никому не повредят.

Тут его прервал с порога Скэнти Мэгун, который умудрился проникнуть в дом вместе с ряжеными, да так тут и остался.

– Храни вас Бог, мистер Бэннон! – крикнул он, потрясая гусиной ножкой. – Вы хороший человек!

Нэд сохранил невозмутимый вид: что делать, у каждого великого человека имеются прилебатели!

– Как я говорил, когда муж миссис Мэгун запустил в меня кирпичом... – (Смех.) – Я хочу воспользоваться тем, что мы собрались. Я уверен, все мы, находящиеся здесь, каждый сын своей матери и каждая дочь, горды и довольны тем, что можем оказать сердечный прием мальчику брата моей бедной жены! – (Громкие аплодисменты и голос Полли: «Поклонись, Фрэнсис!») – Я не буду вдаваться в прошлое. Пусть мертвые хоронят мертвых, говорю я. Но я говорю, и я скажу это – посмотрите на него сейчас, говорю я, и вспомните, каким он приехал!

Аплодисменты, и голос Скэнти в коридоре:

– Мэгги, ради бога, принеси мне еще кусочек гуся!

– Ну, я не из тех, кто сам себя хвалит. Я стараюсь воздавать должное Богу, и людям, и животным. Посмотрите на моих гончих, если вы мне не верите.

Голос Гилфойла:

– Лучшие собаки в Тайнкасле!

Последовала более длительная пауза, потому что Нэд потерял нить своей речи.

– О чем это я говорил?

– О Фрэнсисе, – быстро подсказала Полли.

– А да!.. – Нэд повысил голос. – Когда Фрэнсис приехал, я и говорю себе, я так говорю – вот мальчик, который может быть полезен. Что же, запихнуть его за стойку и пусть зарабатывает себе на жизнь? Нет, ей-богу – извините за выражение, отец Кланси, – мы не такие люди. Мы с Полли все обсудили. С мальчиком плохо обращались, у мальчика будущее впереди, мальчик сын брата моей бедной покойной жены. Давай-ка пошлем его в колледж, говорим мы, мы можем это сделать. – Нэд помолчал. – Ваше преподобие, леди и джентльмены! Я счастлив и горд сообщить, что в будущем месяце Фрэнсис отправится в Холиуэлл!

Произнеся последнее слово как торжествующий заключительный аккорд своей речи, Нэд, весь в испарине, сел под гром аплодисментов.

## 4

На подстриженные лужайки Холиуэлла уже легли длинные тени вязов, но северный июньский вечер был светел, как полдень. Темнота наступит так поздно, так близко к рассвету, что северная заря лишь мимолетно блеснет на высоком бледном небе. Фрэнсис сидел у открытого окна в высоком маленьком кабинете, которым он пользовался вместе с Лоренсом Хадсоном и Ансельмом Мили, с тех пор как был переведен в «философы». Он не мог сосредоточить внимание на записной книжке – прелестный вид, расстилавшийся перед ним, приковывал его взгляд, пробуждая в нем грустные мысли о мимолетности красоты.

Со своего места Фрэнсис видел всю школу – величественное баронское поместье из серого гранита было построено сэром Арчибальдом Фрейзером в 1609 году, а в нашем веке передано в дар католическому колледжу. Часовня в строгом стиле была соединена крытой аркадой с библиотекой и образовывала поросший дерном четырехугольник. За ними располагались площадки для игры в гандбол и футбольное поле, где шла игра. Еще дальше извивалась тонкая лента реки Стинчер и простиралась широкой полосой пастбища с флегматично пасущимися тучными черными коровами; буки, дубы и рябины окружали домик привратника, а совсем вдали виднелись синие, слегка зубчатые Грампианские горы.

Сам того не замечая, Фрэнсис вздохнул. Будто только вчера он высадился в Доуне, узловой станции на севере страны, – новичок, страшась до полусмерти той неизвестности, что ожидала его впереди... А страшный первый разговор с директором школы отцом Хэймишем Макнэббом... Фрэнсис очень хорошо помнил, как Рыжий Мак, грозный маленький шотландец, кровная родня ирландским Мак нэббам, пригнулся к своему письменному столу, словно собираясь напасть, и воззрился на него из-под кустистых рыжих бровей:

- Ну, мальчик, что ты умеешь делать?
- С вашего позволения, сэр, ничего...
- Ничего! И шотландский флинг не умеешь танцевать?!
- Нет, сэр.
- Вот так-так! С таким именем, как Чисхолм?!
- Мне очень жаль, сэр.
- Хм! Не очень-то много от тебя проку, а, мальчик?
- Да, сэр. Разве только, сэр... – дрожа сказал он, – может быть, я умею ловить рыбу.
- Может быть? А? – На губах Макнэбба появилась неторопливая ироническая усмешка. –

Тогда, может быть, мы с тобой подружимся. – Его усмешка стала шире. – Клан Чисхолмов и клан Макнэббов удили вместе, да и сражались вместе, когда нас с тобой еще и в помине не было. Ну а сейчас беги, пока я не отколотил тебя палкой.

...А теперь еще один семестр, и он покинет Холиуэлл. Снова его взгляд скользнул вниз, к небольшим группам, прохаживающимся взад и вперед по усыпанным гравием террасам около фонтана. Почти как в семинарии! Ну и что из этого? Большинство из них отправятся отсюда в семинарию Сан-Моралес в Испании. Среди других гуляющих Фрэнсис различил своих товарищей по комнате, они ходили вместе. Ансельм, как всегда не скрывавший своих привязанностей, нежно взял под руку своего спутника. Тот прохаживался, по привычке жестикулируя, но в меру, как и подобает абсолютному чемпиону кубка доброго товарищества Фрейзера. Сзади них, окруженный своими поклонниками, шагал отец Тэррент – высокий, темноволосый, худой, сосредоточенный, отчужденный и одновременно насмешливый...

При виде этого младожизненного священника лицо Фрэнсиса приняло несвойственное ему жесткое выражение. Он с отвращением посмотрел на открытую записную книжку на подоконнике перед ним, взял перо и, помедлив минуту, начал писать. Решительно сдвинутые брови не портили чистых очертаний его загорелого лица и темной ясности его карих глаз. К восемна-

дцати годам тело Фрэнсиса приобрело гибкую грацию. Светлая чистота облика юноши, какой-то присущий ему вид нетронутости и трогательности странным образом усиливали его физическую привлекательность, но неизменно доставляли ему – увы! – немало горьких, унижительных минут.

*«14 июня 1887 г.*

Сегодня случилось нечто столь удивительное, сенсационное и выходящее за рамки всех правил, что я должен отыграться на этом противном дневнике (и на отце Тэрренте!), записав это. По существу, мне не следовало бы терять этот час перед вечерней – потом Ансельм припрет меня к стенке и заставит идти играть в мяч, – мне нужно было бы коротко записать: Вознесение... Чудесный день... Незабываемое приключение со свирепым Маком... И этим ограничиться. Но даже наш язвительный заведующий учебной частью признает одну мою врожденную добродетель – добросовестность. Сегодня после своей лекции он сказал мне:

– Чисхолм! Я бы посоветовал вам вести дневник. Не для печати, конечно, – не мог не блеснуть он своей адской иронией, – а так... как своего рода испытание совести... Вы, Чисхолм, чрезмерно подвержены этакому духовному упрямству. Если бы вы записывали свои сокровенные мысли... если бы вы смогли это делать... вам, может быть, удалось бы избавиться от этого.

Я, конечно, покраснел как дурак и вспылал:

– Вы хотите сказать, отец Тэррент, что я не подчиняюсь тому, что мне говорят?

Он еле глянул на меня – руки привычно засунуты в рукава сутаны, худой, темноволосый, со сжатыми губами и... такой неопровержимо умный! Видя, как он старается скрыть свою неприязнь ко мне, я вдруг живо представил себе грубую рубашку, которую он носит, и железную дисциплину, которой он – я знаю это – беспощадно себя мучает. Он ответил уклончиво:

– Бывает непослушание ума... – и ушел.

Может быть, это самомнение – воображать, что он так терпеть меня не может, потому что я не стараюсь подражать ему во всем? Большинство из нас делают это. С тех пор как он приехал сюда два года назад, вокруг него образовался настоящий культ с Ансельмом в роли дьякона. Вероятно, он не может забыть тот случай, когда после его лекции о „единой, истинной и апостольской религии“ я вдруг сказал:

– Но, сэр, принадлежность к тому или другому вероисповеданию является, безусловно, такой случайностью рождения, что Бог не может придавать ей столь исключительного значения.

В испуганной тишине, которая наступила вслед за этим, он стоял в замешательстве, но холодный как лед.

– Какой великолепный еретик получился бы из вас, мой милый Чисхолм!

Но по одному пункту, по крайней мере, мы находимся в полном согласии: мы оба убеждены, что я никогда не стану священником. Я пишу смехотворно напыщенно для неоперившегося восемнадцатилетнего юнца. Может быть, это и называется аффектацией, присущей моему возрасту. Но я очень обеспокоен... Я беспокоюсь по нескольким причинам. Во-первых, я ужасно – наверное, и нелепо – беспокоюсь о Тайнкасле. Я думаю, что человек неизбежно теряет связь с домом, если его пребывание там продолжается каких-то четыре недели. Эти короткие летние каникулы – единственное суровое ограничение, применяемое в Холиуэлле, – может быть, и оправдывают себя, помогая людям укрепиться в своем призвании, но они также подстегивают ваше воображение. Нэд никогда не пишет. Его общение со мной за эти три года, что я провел в Холиуэлле, осуществлялось посредством внезапных и фантастических продовольственных посылок: колоссальный мешок грецких орехов, присланный в первую мою зиму здесь, и прошлой весной – корзина бананов. Три четверти из них были перезрелые и вызвали здесь пренекрасивую эпидемию среди „духовенства и мирян“.

Но даже и в молчании Нэда есть что-то странное, а письма тети Полли еще больше настаивают на этом. Ее милые неподражаемые сплетни обо всех событиях в нашем приходе замесились скудным перечислением фактов и, главным образом, сообщениями о погоде. И эта перемена тона произошла совершенно неожиданно. Нора, естественно, ничем мне в этом не помогла. Она-то вообще настоящая „открыточная“ девочка: все свои обязанности по писанию писем она ограничивает несколькими словами, нацарапанными за пять минут раз в год у моря.

Однако прошли уже, кажется, века, с тех пор как она прислала свою последнюю открытку с видом: „Закат на набережной в Скарборо“, а два моих последних письма не удостоились даже ответного „Луна над гаванью в Уитли“. Милая Нора! Я никогда не забуду того вечера в яблочном сарае. Это из-за тебя я с таким нетерпением жду приближающихся каникул. Интересно, пойдем ли мы опять в Госфорт? Затаив дыхание, я наблюдал, как ты растешь, как развивается твой характер (я имею в виду все его противоречия). Я знаю, какая ты живая, застенчивая, храбрая, обидчивая, веселая, немножко испорченная лестью, но полная невинности и жизнерадостности. Даже сейчас я вижу перед собой твое озорное маленькое личико, вижу, как оно все светится задором, когда ты удивительно талантливо изображаешь тетю Полли или меня... – ты уперла в бока свои худенькие ручки, твои синие глаза вызывающе блестят... и вот ты уже несешься в веселом и лукавом танце. Вся ты такая земная и полная жизни... даже эти вспышки раздражительности и приступы дурного настроения, что неизменно кончаются рыданиями, сотрясающими твое хрупкое тело... И, несмотря на все твои недостатки, у тебя такое теплое и порывистое сердечко (я же это знаю!). Это оно заставляет тебя стремиться к внезапным румянцам стыда к тому, кого ты невольно обидела... Я часто лежу без сна и думаю о тебе и вижу взгляд твоих глаз, а когда я представляю себе худенькие ключицы над маленькими круглыми грудями, меня заливают нежность и жалость...»

Фрэнсис остановился, внезапно вспыхнул и вычеркнул последнюю строчку. Потом добросовестно возобновил свое занятие.

«Во-вторых, хотя это и эгоизм, но меня беспокоит мое будущее. Теперь я образованнее – тут отец Тэррент опять согласится со мной – людей моего круга. Мне остается еще один семестр в Холиуэлле. Что же, после этого я должен с благодарностью вернуться к пивным кружкам „Юнион-таверны“? Я больше не могу быть в тягость Нэду или, вернее, Полли, так как недавно совершенно случайно узнал, что плату за мое ученье посылала из своих скромных доходов она, эта удивительная женщина! Я сам запутался в своих стремлениях. Моя любовь к тете Полли, моя безграничная благодарность заставляют меня страстно желать отплатить ей за ее добро. А ее самое заветное желание – видеть меня священником. К тому же в таком месте, как это, где три четверти студентов и большинство твоих друзей будут священниками, трудно устоять перед притягательностью единой цели. Хочется занять свое место в общих рядах. Независимо от Тэррента отец Макнэбб считает, что из меня получится хороший священник. Я чувствую это, когда он смотрит на меня с умным дружеским вызовом и в его почти богоподобном умении ждать. А он, директор колледжа, уж конечно, разбирается в том, есть ли у кого призвание или нет.

Конечно, я слишком порывист и горяч, и мое беспорядочное воспитание породило во мне некоторый еретический выверт. Я не могу претендовать на то, чтобы быть причисленным к тем „благословенным“ юношам – а ими кишит наша библиотека, – которые с раннего детства уже лепетали молитвы, а позднее устраивали часовни в лесу и делали выговоры маленьким девочкам, толкавшим их на деревенской ярмарке: „Уйди, Тереза (или Аннабель), я не для тебя“.

Но как описать те мгновения, которые иногда наступают совершенно внезапно: когда идешь один по дороге к Доуну, или когда вдруг проснешься в темноте своей безмолвной ком-

наты, или когда останешься абсолютно один в пустой церкви, в которой еще веет дыхание жизни и которую только что покинула шаркающая, кашляющая, перешептывающаяся толпа; моменты странных предчувствий, непостижимого прозрения... Это не тот сентиментальный экстаз, который так же отвратителен мне сейчас, как был отвратителен всегда (спрашивается, почему мне всегда становится тошно, когда я вижу восторг на лице руководителя новициев)<sup>17</sup>, – нет, это чувство утешения, надежды.

Зачем я пишу все это, хотя оно и не предназначено для посторонних глаз? Такие интимные переживания на бумаге выглядят унылым вздором. Но я должен сказать о том ощущении своей неотвратимой принадлежности Богу, которое пронзает меня сквозь тьму, о глубоком убеждении, что в этой размеренно, согласованно, неумолимо движущейся вселенной человек не возникает из ничего и не исчезает в ничто. И в этом – не странно ли? – я чувствую влияние Дэниела Гленни, милого чудаковатого „святого Дэна“, чувствую на себе его теплый неземной взгляд...

Ах, к черту все! И Тэррента туда же! Я и в самом деле изливаю свою душу. Если я такой уж „святой“, почему же я ничего не делаю для Бога? Почему я не борюсь с равнодушием, охватившим такое множество людей? Почему я не борюсь с материализмом, который с глумливой усмешкой завладевает современным миром... Короче говоря, почему же я не становлюсь священником?.. Ну что ж... я должен быть честным. Я думаю, что это из-за Норы. Красота и нежность моего чувства к ней переполняют мне сердце. Ее светлое милое личико стоит у меня перед глазами, даже когда я в церкви молюсь Пресвятой Деве. Милая, милая Нора. Ты истинная причина того, что я не беру билета на божественное путешествие в Сан-Моралес».

Он перестал писать, и взгляд его устремился куда-то вдаль. Лицо его приняло отрешенно-мечтательное выражение, лоб слегка нахмурился, но губы улыбались. С усилием Фрэнсис снова сосредоточился.

«А теперь я должен вернуться назад и рассказать о том утре и Рыжем Маке. Так как это был один из церковных праздников, то в моем распоряжении было все утро. По пути к сторожке, куда я шел опустить письмо, я наткнулся на директора, возвращавшегося со Стинчера с удочкой и без рыбы. Он остановился, опираясь коротким плотным телом на багор. Его красное лицо под пламенем рыжих волос было смущенным и нахмуренным. Я люблю Свирепого Мака. Думаю, он тоже привязан ко мне. Это объясняется очень просто: оба мы шотландцы до мозга костей и оба рыболовы... Только мы двое во всей школе. Когда леди Фрейзер передала колледжу часть находящегося в ее владении Стинчера, Свирепый Мак заявил, что река принадлежит ему, – он был страстный рыболов. По этому поводу „Холиуэлл монитор“ поместила стишок, начинающийся словами:

Не позволю дуракам  
Подходить к моим прудам.

Вот какую историю рассказывают о нем: однажды он служил мессу в замке Фрейзеров. Вдруг в самой середине службы в окно часовни просунулась голова его верного друга, пресвитерианца Джилли; казалось, он сейчас лопнет от сдерживаемого волнения.

– Ваше преподобие! Она как безумная идет в Локаберпул!

Никогда еще месса не была отслужена так быстро. Над ошеломленными прихожанами, среди которых находилась и леди Фрейзер, были скороговоркой произнесены молитвы, с голо-

<sup>17</sup> *Новиции* (лат. novicius – новичок; рел.) – новообращенные, послушники.

вокружительной быстротой им было дано благословение, а затем из сакристии<sup>18</sup>, как молния, вылетело нечто черное, похожее на дьявола, каким его представляют в этих местах.

– Джок, Джок! В какую сторону она идет?

В то утро он смотрел на меня с негодующим видом:

– Ни одной рыбы! И как раз когда мне так нужно было бы поймать хоть одну для наших знатных гостей!

(Епископ нашей епархии и уходящий в отставку ректор английской семинарии в Сан-Моралесе ожидали в этот день к завтраку.)

Я сказал:

– В Глиб-пуле есть одна рыба, сэр.

– Во всей реке нет ни одной рыбы, нет даже ни одного молодого лосося... Я был на реке с шести часов.

– Это большая рыба.

– Воображаемая!

– Я видел ее там вчера под запрудой, но, конечно, не посмел попробовать поймать ее.

Он посмотрел на меня из-под рыжих бровей и сурово улыбнулся:

– Ты порочный демон-искуситель, Чисхолм. Если тебе охота зря тратить время, что ж, пожалуйста, я не возражаю. – Он протянул мне свою удочку и ушел.

Я направился к Глиб-пулу. Сердце прыгало у меня в груди, как всегда при шуме бегущей воды. Я уселся удить в заводи и удил около часа. Семга очень редко попадает в это время года. Один раз мне показалось, что темный плавник мелькнул в тени противоположного берега, но рыба не клевала. Вдруг я услышал осторожное покашливание. Я быстро обернулся. Свирепый Мак, в своих лучших черных одеждах, в перчатках и парадном цилиндре, остановился по пути на станцию Доун, куда он шел встречать гостей, чтобы выразить мне свое соболезнование.

– Да, Чисхолм, эти большие рыбы всегда достаются труднее всего, – заметил он с замозильной усмешкой.

Пока он говорил, я в последний раз закинул удочку ярдов на тридцать через заводь. Она попала как раз в пену, крутящуюся в небольшом водовороте в дальнем конце запруды. В следующее мгновение я почувствовал, что рыба взяла, подсек и крепко вцепился в удочку.

– У тебя клюет! – закричал Свирепый Мак.

Потом из воды фута на четыре в воздух выскочила семга. Хотя я и сам чуть не свалился, но на Мака это произвело просто ошеломляющий эффект. Я почувствовал, что он застыл рядом со мной.

– Бога ради! – невнятно бормотал он, охваченный благоговейным страхом.

Такой большой семги я еще никогда не видел, ни здесь в Стинчере, ни в сетях моего отца в Твидсайде.

– Держи ей голову кверху! – вдруг заорал Свирепый Мак. – Парень, парень, стукни ее по голове!

Я старался изо всех сил. Но сейчас рыба управляла мной. Безумным неистовым броском она устремилась вниз по течению. Я побежал за ней. Свирепый Мак побежал за мной. Стинчер в Холиуэлле совсем не похож на Твид. Он несется коричневым стремительным потоком по узким ущельям, поросшим соснами, прыгая по скользким валунам и высоким глинистым уступам. Через десять минут мы с Маком пробежали уже с полмили вниз по реке и здорово устали. Но рыбу я пока не упустил.

– Держи ее! Держи ее! – Мак охрип от крика. – Дурак! Ну что за дурак! Не пускай ее в заводь, не пускай!

---

<sup>18</sup> Сакристия (от лат. *sacrum* – священная утварь) – в католических храмах – ризница, особое помещение, в котором хранятся принадлежности культа (священнические облачения, утварь и проч.).



Но рыбина, конечно, уже ушла туда и нырнула в глубокую яму, запутав грузило в массе затонувших корней.

– Отпусти ее! Отпусти ее немножечко! – Мак даже припрыгивал от страха и волнения. – Отпусти ее чуть-чуть, а я стукну ее камнем.

Осторожно, чуть дыша, он начал бросать камни, стараясь выгнать рыбу из ее убежища не повредив удочки. Это продолжалось мучительно долго. Потом „уирр“... – рыба помчалась дальше, а за ней мы с Маком.

Через час или около того в широких отмелях с медленным течением напротив деревни Доу семга наконец проявила первые признаки поражения. Совершенно измученный, пыхтящий, терзаемый множеством страшных опасений, Свирепый Мак отдал последнюю команду:

– Ну-ну! Сюда ее, на этот песок! – Затем прокаркал: – У нас нет багра. Если она потянет тебя дальше, она уйдет совсем.

Во рту у меня пересохло, я задыхался. Весь дрожа, я начал подводить рыбу. Она шла спокойно, потом вдруг сделала последнюю отчаянную попытку удрать. Мак испустил глухой стон:

– Легче... легче! Если ты ее сейчас упустишь, я никогда не прощу тебе!

В мелководье рыба казалась невероятной. Я мог видеть перетершуюся нить, к которой крепился крючок. Если я ее упущу! У меня мороз по коже прошел, будто мне под рубашку сунули комок льда. Я тихонько повел ее к небольшой песчаной отмели. В напряженном молчании Мак наклонился над ней, схватил под жабры и, высоко подняв, грохнул чудовище на траву.

О, это было величественное зрелище – на зеленом лугу распласталась рыба больше сорока фунтов весом. Она так недавно пришла из моря, что морские вши еще не упали с ее выгибающейся спины.

– Это рекорд, это рекорд! – запел Мак, подхваченный, как и я, волной неземной радости. Мы взялись за руки и начали отплясывать фанданго. – Сорок два фунта, ни унции меньше... Мы запишем это в книгу. – Он даже обнял меня. – Старина, ты отличный, отличный рыбак!

В этот момент с железной дороги через реку до нас донесся слабый свисток паровоза. Свирепый Мак остановился и растерянно посмотрел на дымок, на казавшийся игрушечным красно-белый сигнал, опустившийся над станцией Доун. И вдруг он вспомнил, что должен был идти встречать епископа. Мак в ужасе покопался в карманах в поисках своих часов.

– Боже милостивый, Чисхолм! Это поезд епископа! – заговорил он тоном директора Холиуэлла.

Было понятно, что он в затруднительном положении: или за пять минут он должен проделать пять миль по окружной дороге и дойти до станции, что, очевидно, было невозможно, или переплыть реку. Я видел, как он медленно решается.

– Возьми и отнеси эту рыбу, Чисхолм, и скажи, чтобы ее сварили целиком к обеду. Пospеши. И помни о жене Лота и соляном столбе<sup>19</sup> – ни в коем случае не оборачивайся назад!

Но я не мог удержаться. Когда я достиг первой речной излуины, я выглянул из-за куста, рискуя окончить свою жизнь соляным столбом. Отец Мак уже разделся догола и связал свои одежды в узелок. С цилиндром, твердо сидящим на голове, подняв вверх, подобно епископскому посоху, узелок, он нагишом вошел в воду. Свирепый Мак то шел вброд, то плыл, пока не достиг другого берега, там, мокрый, втиснулся в одежду и решительно пустился бежать навстречу приближающемуся поезду.

В каком-то восторженном исступлении я катался по траве. Не зрелище этого цилиндра, бесшабашно нахлобученного на лоб, хотя его я тоже не забуду до конца жизни, но мужество и презрение к условностям, крившиеся за этой эскападой, было тому причиной. Я подумал:

---

<sup>19</sup> Не в меру любопытная жена Лота нарушила приказ не оборачиваться при бегстве и превратилась в соляной столб. – Прим. ред.

отец Мак, наверное, тоже не выносит нашу благочестивую притворную стыдливость, которая содрогается при виде человеческого тела и старается прикрыть женские формы, словно что-то постыдное».

Шум за дверью заставил Фрэнсиса остановиться. Дверь открылась, и Хадсон с Ансельмом Мили вошли в комнату.

Хадсон, спокойный темноволосый юноша, сел и начал переобуваться. У Ансельма в руках была вечерняя почта.

– Тебе письмо, Фрэнсис! – сказал он возбужденно.

Мили вырос в красивого молодого человека с бело-розовой кожей. Щеки его отличались гладкостью, присущей совершенно здоровым людям. У него были светлые прозрачные глаза, а улыбка редко сходила с губ. Всегда энергичный, деловитый, улыбающийся, он, несомненно, был самым популярным учеником в школе. Хотя Ансельм и не блистал на занятиях, учителя любили его, и имя Мили частенько красовалось в списках учеников, удостоенных награды. Он хорошо играл в спортивные игры, не требующие силы и не грубые. Кроме того, он был просто гениален, когда дело касалось каких-нибудь процедурных вопросов. Ансельм руководил по крайней мере полудюжиной клубов, начиная с клуба филателистов и кончая клубом философов. Он знал такие слова, как «кворум», «протокол» и «господин председатель», и бойко оперировал ими. Если организовывалось какое-нибудь новое общество, обойтись без консультации Ансельма было просто невозможно, и он автоматически становился его президентом. Мили возносил проникновенные хвалы жизни духовенства. Единственным крестом, который ему приходилось нести, как это ни парадоксально, была искренняя неприязнь, которую питали к нему директор и еще несколько странных одиноких чудаков. Для всех же прочих Ансельм был героем, и он принимал свои успехи со скромной, чистосердечной улыбкой.

Теперь, протягивая Фрэнсису письмо, он сказал с теплой обезоруживающей ласковостью: – Надеюсь, в нем куча добрых новостей, дружище.

Фрэнсис распечатал письмо. Оно было без даты и написано карандашом на накладной с заголовком:

*Эдвард Бэннон*

*«Юнион-таверна»*

*угол Дайк-стрит и Кэнел-стрит*

*Тайнкасл*

*Дорогой Фрэнсис, надеюсь, ты получишь это письмо в таком же добром здоровье, в каком я его пишу. Также извини, что пишу карандашом. Мы все расстроены. Мне очень прискорбно говорить тебе, Фрэнсис, что тебе нельзя будет в этот раз приехать домой на каникулы. Никто не огорчен этим больше меня, я ведь не видала тебя с прошлого лета, и все такое. Но поверь мне, это невозможно, и мы должны смириться перед волей Божьей. Я знаю, ты не из тех, кто легко принимает отказы, но на этот раз ты должен, пусть мне будет свидетельницей Пресвятая Дева Мария. Я не буду скрывать, что у нас неприятности, как ты и сам должен догадаться, но ты ничем не сможешь помочь. Это не деньги и не болезнь, так что не беспокойся. И все это пройдет с Божьей помощью и забудется. Тебе легко будет устроить, чтобы тебя оставили на каникулы в колледже. Нэд оплатит все дополнительные расходы... У тебя будут твои книги и приятное общество и прочее. Может быть, мы устроим так, что ты приедешь на Рождество, так что не волнуйся. Нэд продал своих гончих, но не из-за денег. Мистер Гилфойл нас всех очень поддерживает. Ты ничего не теряешь, погода у нас ужасно мокрая. И не забывай, Фрэнсис, что у нас в доме народ и нет места, ты не должен*

*(подчеркнуто дважды) приезжать. Благослови тебя Бог, мой милый мальчик,  
и извини, что пишу наспех.  
Твоя любящая Полли Бэннон*

Сидя у окна, Фрэнсис перечитал письмо несколько раз. Хотя цель его была ясна, но его значение оставалось вызывающим беспокойство и загадочным. С напускным спокойствием он сложил листок и спрятал его в карман.

– Ничего плохого, надеюсь? – Мили заботливо смотрел на него.

Фрэнсис натянуто молчал, не зная, что сказать.

– Прости, старина, мне очень жаль. – Ансельм шагнул вперед, мягко, ободряюще положил руку на его плечо. – Если я чем-нибудь могу помочь, скажи мне, ради бога. Может быть... – Он помолчал с серьезным видом. – Может быть, тебе не до игры в мяч сегодня?

– Да, пожалуй, – промямлил Фрэнсис.

Ударил колокол к вечерне.

– Хорошо, мой милый Фрэнсис. Я вижу, тебя что-то беспокоит. Я помолюсь за тебя сегодня вечером.

Всю вечерню юноша мучительно думал о непонятном письме Полли. По окончании службы на него вдруг нашло желание пойти со своей тревогой к Свирепому Маку. Он медленно поднялся по широкой лестнице.

Войдя в кабинет, Фрэнсис увидел, что директор не один – с ним сидел отец Тэррент, которого он не сразу разглядел за кипой бумаг. По странному внезапному молчанию, воцарившемуся с его появлением, юноша ясно почувствовал, что говорили о нем.

– Простите, сэр. – Фрэнсис в замешательстве посмотрел на Свирепого Мака. – Я не знал, что вы заняты.

– Ничего-ничего, Чисхолм. Садись.

Живая теплота его голоса побудила Фрэнсиса, уже было повернувшегося к двери, сесть на плетеный стул около письменного стола. Медленными движениями коротких толстых пальцев Свирепый Мак продолжал набивать табак в свою прокуренную трубку.

– Ну, мил человек, чем мы можем быть тебе полезны?

Юноша покраснел:

– Я... я думал, что вы будете один...

Неизвестно почему директор избегал его умоляющего взгляда.

– Но тебе же не помешает отец Тэррент? А? Что у тебя?

Выхода не было. Не пытаясь придумать какую-нибудь отговорку, он сказал с запинкой:

– Это из-за письма из дома... – Он хотел показать письмо Полли Свирепому Маку, но в присутствии Тэррента гордость не позволила ему сделать это. – По каким-то неясным мне причинам они, по-видимому, не хотят брать меня на каникулы.

– О?! – (Не ошибся ли он? Ему показалось, что эти двое быстро переглянулись.) – Это, должно быть, большое разочарование для тебя?

– Да, сэр. И я беспокоюсь. Я думал... По правде говоря, я пришел спросить вас, что же я должен делать.

Наступило неловкое молчание. Отец Макнэбб, казалось, еще глубже погрузился в старое кресло и все еще вертел в руках трубку. Он знал многих мальчиков, знал их вдоль и поперек. Но в этом юноше, сидящем тут около него, была такая внутренняя утонченность, красота и упрямая честность, что он невольно прилепился к нему сердцем.

– У нас у всех бывают свои разочарования, Фрэнсис. – Отец Мак говорил задумчиво и печально, и голос его был более мягок, чем обычно. – Отцу Тэрренту и мне тоже пришлось сегодня перенести разочарование. В нашей семинарии в Испании сейчас многие уходят в отставку. – Он помолчал. – Мы назначены туда, я – ректором, а отец Тэррент – заведующим учебной частью.

Фрэнсис попытался выдавить из себя какой-нибудь ответ.

В действительности перевод в Сан-Моралес означал повышение, которого многие домогались, – оттуда был лишь шаг до получения сана епископа. Но как бы ни реагировал на это Тэррент – юноша бросил взгляд на ничего не выражающий профиль, – Макнэбб, конечно, не так относится к этому. Сухие равнины Арагона будут чужды человеку, всей душой любящему зеленые леса и стремительные воды Холиуэлла. Свирепый Мак мягко улыбнулся:

– Мне так хотелось бы остаться здесь. А тебе хочется уехать. Что ты на это скажешь? А? Согласимся ли мы оба принять эту взбучку от Всемогущего Бога?

Фрэнсис в замешательстве силился собраться с духом и сказать что-нибудь подобающее.

– Это просто... Я просто беспокоюсь... Я думал, может быть, мне следует узнать, что там случилось, и постараться помочь?

– На твоём месте я бы подумал, нужно ли это делать, – живо ответил отец Макнэбб. – А что вы скажете, отец Тэррент?

Младший учитель пошевелился в полумраке:

– Неприятности, по-моему, лучше разрешаются сами собой, без вмешательства извне.

По-видимому, говорить больше было не о чем. Директор зажег лампу на письменном столе. Осветив темный кабинет, она как бы положила конец разговору. Фрэнсис встал. Хотя он смотрел на обоих, но обращался только к Свирепому Маку.

– Я не могу вам сказать, как мне жаль, что вы уезжаете в Испанию. Школа... Я... Мне будет так недоставать вас, – произнес он, запинаясь, но от всего сердца.

– Может быть, мы увидимся с тобой там? – В голосе отца Мака звучали надежда и спокойная привязанность.

Фрэнсис не ответил. Пока он стоял в нерешительности, не зная, что сказать, терзаемый противоречивыми чувствами, его опущенный взгляд вдруг упал на письмо, что лежало распечатанным на письменном столе. Не столько это письмо – да Фрэнсис и не мог прочесть его на таком расстоянии, – сколько яркий синий штамп в заголовке привлек его внимание. Он быстро отвел глаза, но успел прочесть: «Приход Святого Доминика. Тайнкасл».

Юноша вздрогнул. Дома неблагополучно. Теперь он был в этом уверен. На его лице ничего не отразилось, оно осталось бесстрастным, и ни один из учителей не догадался о его открытии. Но, идя к двери, Фрэнсис уже знал, что ему делать, и ничто не смогло бы заставить его поступить иначе.

## 5

Поезд пришел в Тайнкасл в два часа. Стоял знойный июньский день. С чемоданом в руке, Фрэнсис быстро шел от станции. Чем ближе подходил он к знакомой части города, тем сильнее билось его сердце.

Странное безмолвие нависло над таверной. Фрэнсис хотел застать тетю Полли врасплах – он легко взбежал по боковой лестнице и вошел в дом. Здесь тоже было тихо и странно темно после ослепительного блеска пыльной улицы. В коридоре и в кухне царил пустота, нигде ни звука, только оглушительно тикали часы.

Фрэнсис прошел в гостиную. За столом, положив оба локтя на красную шерстяную скатерть, сидел Нэд. Он неотрывно смотрел на голую стену напротив себя. Не только его поза, но и перемена, происшедшая в нем, заставили юношу приглушенно вскрикнуть. Нэд потерял три стоуна<sup>20</sup> в весе, одежда висела на нем; его круглое сияющее лицо стало мрачным и мертвенно-бледным.

– Нэд! – Фрэнсис протянул руку.

Наступила тишина, затем Нэд вяло повернулся, сквозь всепоглощающую апатию медленно пробивался проблеск сознания.

– Это ты, Фрэнсис? – слабо улыбнулся он. – Я и понятия не имел, что тебя ждут.

– А меня вовсе и не ждут, Нэд. – Скрывая беспокойство, Фрэнсис сделал попытку засмеяться. – Но когда нас распустили, я просто ни минуты не мог ждать. Где тетя Полли?

– Она уехала... да... Полли уехала на пару дней в Уитли-Бей.

– Когда же она вернется?

– Возможно... завтра...

– А где Нора?

– Нора... – Нэд говорил совершенно безжизненным голосом. – Она уехала с тетей Полли.

– Понимаю. – Фрэнсис почувствовал прилив облегчения. – Вот почему она не ответила на мою телеграмму. Но, Нэд... а ты... ты-то здоров, я надеюсь?

– Я здоров, Фрэнсис. Может быть, погода на меня немножко действует... Но таким, как я, ничего не делается. – Тут его грудь вдруг стала вздыматься, и юноша с ужасом увидел, что по продолговатому лицу Нэда текут слезы. – Ну а теперь иди отсюда и поешь чего-нибудь. Там в буфете полно всякой всячины. Тэд даст тебе, что ты захочешь. Он внизу в баре. Он опора для всех нас, Тэд.

Взгляд Нэда побродил вокруг и снова уперся в стену.

Фрэнсис, совершенно ошеломленный, повернулся и понес чемодан в свою маленькую комнату. Проходя по коридору, он увидел, что дверь к Норе была открыта. Чистое белое уединение этой комнаты заставило его в неожиданном смущении отвести глаза. Фрэнсис поспешил вниз.

Бар был безлюден, даже Скэнти исчез куда-то – его опустевший угол приковывал к себе внимание и казался невероятным, как брешь, пробитая в прочной толще стены. Но за баром, ловко перетирая стаканы, без пиджака, стоял Тадеус Гилфойл.

Когда Фрэнсис вошел, Тэд сразу перестал насвистывать. Заметно пораженный, он помедлил с минутой, прежде чем протянуть ему в знак приветствия мягкую, слегка влажную руку.

– Ну и ну! – воскликнул он. – Вот это приятное зрелище!

Вид собственника, с каким держал себя Гилфойл, был отвратителен. Но Фрэнсис, теперь уже крайне встревоженный, сумел принять безразличное выражение и беспечно сказал:

– Я удивлен, видя вас здесь, Тэд. Что случилось с газовым заводом?

---

<sup>20</sup> Стоун (англ.) – мера веса, равен 6,35 кг.

– Я ушел оттуда, – ответил тот спокойно.

– Почему?

– Чтобы быть здесь. Постоянно. – Он поднял стакан и, осмотрев его со знанием дела, подышал на него и начал полировать. – Когда они меня попросили, что еще я мог сделать?

Фрэнсис чувствовал, что нервы его напряжены до предела.

– Во имя неба, что все это значит, Гилфойл?

– Мистер Гилфойл, Фрэнсис, если вы не возражаете... – Замечание прозвучало с явным самодовольством. – У Нэда просто сердце болело оттого, что я занимал такое неподходящее место. Он совсем сдал, Фрэнсис. Сомнительно, что он когда-нибудь опять станет самим собой.

– А что с ним произошло? Вы говорите так, будто он сошел с ума.

– Так оно и было, Фрэнсис, так оно и было, – тяжело вздохнул Гилфойл, – но теперь он опять в своем уме, бедняга. – Тэд внимательно наблюдал за Фрэнсисом и, видя, что тот намерен сердито оборвать его, заискивающе произнес: – Ну-ну... Вам вовсе ни к чему задирать нос передо мной. Я-то как раз поступаю хорошо. Спросите отца Фицджеральда, если не верите мне. Я знаю, вы всегда меня недолюбливали. Я отлично помню, как вы высмеивали меня, когда подросли. А у меня лучшие намерения, Фрэнсис... Я всей душой к вам... И нам надо держаться вместе... особенно теперь.

– Почему особенно теперь? – Фрэнсис скрипнул зубами.

– Ах, да-да... откуда же вам знать... ну конечно... – боязливо, но самодовольно ухмыльнулся Тэд. – Ведь оглашение было сделано первый раз только в прошлое воскресенье. Видите ли, Фрэнсис, мы с Норой собираемся пожениться.

Тетя Полли и Нора вернулись на следующий вечер уже довольно поздно. Фрэнсис был почти болен от охвативших его дурных предчувствий. Он ничего не сумел вывести у молчаливого, как рыба, Гилфойла. В мучительном нетерпении Фрэнсис ждал их возвращения и сразу же сделал попытку припереть тетю Полли к стенке. Но та, опомнившись от первого испуга при виде его, тут же закричала:

– Фрэнсис, я же не велела тебе приезжать! – и поспешила с Норой наверх.

Полли отмахивалась от его назойливых вопросов, снова и снова повторяя:

– Нора нездорова, она больна, говорю тебе... Уйди с дороги... Мне нужно позаботиться о ней.

Получив отпор, он, холодея от все сильнее овладевавших им мрачных мыслей о приближении какого-то неведомого ужаса, поднялся к себе. Нора едва взглянула на него и сразу же легла в постель. Еще с час он слышал, как Полли суетливо носилась с подносами и бутылками горячей воды и тихо умоляла Нору о чем-то, донимая ее своими заботами. Впрочем, Нора, худая как палка, действительно выглядела больной. Тетя Полли тоже была измучена и совершенно извелась. Фрэнсис заметил, что она небрежно одета и у нее появился новый жест – то и дело быстро прижимать руку ко лбу. Поздно ночью, так как ее комната была смежной с его, он услышал, как Полли тихо молится. Терзаясь этой загадкой, юноша кусал губы и беспокойно ворочался в постели.

Следующее утро выдалось ясным. Фрэнсис встал и по своей привычке пошел к ранней мессе. Вернувшись, он застал Нору во дворе. Девушка сидела на ступеньках крыльца, греясь в полосе солнечного света, у ее ног пищали и суетились цыплята. Она не сдвинулась с места, чтобы дать ему пройти. Фрэнсис постоял с минуту, тогда Нора подняла голову, рассматривая его:

– А... это наш святоша... уже ходил спасать душу!

От ее тона, такого неожиданного, такого спокойно презрительного, он покраснел.

– Кто же служил? Его преподобие Фицджеральд?

– Нет, служил его помощник.

– Этот бессловесный бык в стойле! Ну, этот хоть безвреден.

Девушка снова опустила голову и стала смотреть на цыплят, подперев худой подбородок совсем прозрачной рукой. Хотя она всегда была тоненькой, Фрэнсиса поразила ее почти детская хрупкость, так не вязавшаяся с замкнутым взрослым выражением глаз и новым серым платьем, уже женским и дорогим, которое ненавязчиво украшало ее. Его сердце плавилось в белом огне нестерпимой боли, которая, казалось, заполнила всю грудь. Беда Норы взывала к нему. Он не глядел на нее. Он колебался. Потом очень тихо спросил:

– Ты уже завтракала?

Девушка кивнула:

– Полли насильно пропихнула завтрак мне в горло. Господи! Если бы только она оставила меня в покое!

– Что ты делаешь сегодня?

– Ничего.

Фрэнсис опять помолчал и вдруг выпалил:

– Нора, почему бы нам не пойти погулять? Как мы когда-то ходили. Такой чудесный день! Все чувства Фрэнсиса к ней потоком устремились из его тревожных глаз. Она не пошевелилась, но слабая краска оживления проступила на ее худых щеках.

– Меня нельзя беспокоить, – сказала она мрачно, – я устала.

– Ну пойдем, Нора... пожалуйста...

Девушка уныло молчала.

– Ладно.

Его сердце застучало глухо и больно. Он бросился в кухню, спеша и нервничая, приготовил несколько бутербродов, отрезал кекса и неумело завернул все в бумагу. Полли не было видно, да сейчас, по правде говоря, ему очень хотелось улизнуть потихоньку от нее. Через десять минут они с Норой сидели в красном трамвае, с лязгом несущемся через весь город. Еще через час они брели бок о бок, не говоря ни слова, к Госфорт-Хиллз.

Фрэнсис сам не понимал, что побудило его направиться именно сюда. В этот день за городом, где все расцветало, было прелестно, но в самой этой прелести было что-то трепетно-робкое, причинявшее невыносимую боль. Когда они подошли к саду Лэнга, стоявшему в пене цветов, он остановился и попытался разбить тяжелое молчание, лежащее между ними непроницаемой преградой.

– Посмотри, Нора! Давай обойдем вокруг, а потом зайдем поговорить с Лэнгом.

Она взглянула на сад – застывшие ряды деревьев, похожих на шахматные фигуры, окружали сарай – и сказала горько и грубо:

– Не хочу! Ненавижу это место!

Фрэнсис не ответил. Он смутно чувствовал, что эта горечь относится не к нему.

К часу они дошли до Госфортского маяка. Видя, что Нора устала, Фрэнсис, не спрашивая ее согласия, остановился под высоким буком позавтракать. День был необыкновенно теплым и ясным. Внизу, на равнине, блестя золотыми отсветами, лежал город с возвышающимися над ним куполами и шпилями. Издалека он казался несказанно прекрасным.

Нора едва притронулась к приготовленным бутербродам, и, вспомнив деспотическую навязчивость Полли, он не стал принуждать Нору поесть. Как хорошо было в тени! Они сидели на усыпанном буковыми орешками мху, и зеленые листья, трепещущие над их головами, бросали на него свой мягкий узор. В воздухе носился живительный запах древесных соков. Вверху, на высокой ветке, издавал гортанный клич дрозд.

Через несколько минут девушка прислонилась к стволу дерева, запрокинула голову и закрыла глаза.

Ее спокойная, смягченная поза была для Фрэнсиса высшей наградой. Он смотрел на нее со все возрастающей нежностью. Изгиб ее шеи, такой тонкой и беззащитной, поднял в нем

волну невыразимого сострадания. Нежность переполняла его, вызвала желание укрыть, защитить эту девушку. Голова ее немного соскользнула с дерева, но Фрэнсис не смел дотронуться до нее. Однако, думая, что она спит, он инстинктивно поддержал ее рукой. Мгновенно она высвободилась и принялась колотить его сжатыми кулачками в лицо и в грудь, истерически крича:

– Оставь меня! Скотина! Животное!

– Нора, Нора! Что с тобой?

Запыхавшись, с дергающимся, искаженным лицом, она откинулась назад:

– И не пытайся обойти меня таким способом! Все вы одинаковые. Все до одного!

– Нора! – с отчаянием взмолился Фрэнсис. – Ради бога! Умоляю тебя! Давай выясним все!

– Что нам выяснять?!

– Да все... Почему ты такая... Почему ты выходишь замуж за Гилфойла.

– А почему бы мне и не выйти за него замуж? – защищаясь, бросила она с горечью.

Его губы пересохли, он едва мог говорить.

– Но, Нора, он же такое ничтожество... он не стоит тебя.

– Он не хуже всякого другого. Я же сказала, что все вы одинаковы. По крайней мере, он будет знать свое место.

Ошеломленный и побледневший, Фрэнсис смотрел на Нору. И было в его неверящих глазах что-то ранившее ее так жестоко, что в ответ она нанесла рану еще более жестокою.

– Может быть, ты воображаешь, что мне нужно выйти замуж за тебя?.. За примерного мальчика с ясными глазками, прислуживающего у алтаря... За недопеченного попа?! – Ее губы дергались в презрительной, глумливой усмешке. – Так вот что я тебе скажу: по-моему, ты просто посмешище... Истеричный ханжа... Ты сам не знаешь, как ты смешон... Святой отче наш... Умора! Да будь ты единственным человеком во всем мире, я бы не... – Она задохнулась и, вся дрожа, мучительно и тщетно старалась сдержать слезы, зажимая рот рукой, и, вдруг разрыдавшись, бросилась к нему на грудь. – О Фрэнсис, Фрэнсис, милый, прости меня! Ты же знаешь, что я всегда любила тебя. Убей меня, если хочешь... Мне все равно.

Успокаивая ее, неловко глядя по голове, он сам дрожал так же сильно, как она. Мало-помалу сотрясавшие ее рыдания стихли. Нора лежала в его объятиях, обессиленная и покорная, как раненая птица, спрятав лицо в его куртку. Затем она медленно выпрямилась, не глядя на него, достала носовой платок, вытерла измученное, заплаканное лицо, поправила шляпу и проговорила усталым ровным голосом:

– Нам, пожалуй, пора идти.

– Нора, взгляни на меня.

Но девушка, по-прежнему избегая его молящего взгляда, только сказала тем же странным монотонным голосом:

– Ну говори... что ты еще хочешь сказать.

Фрэнсис заговорил с юношеской горячностью:

– Ладно, Нора, я скажу. Я не намерен мириться с этим! Я отлично понимаю, что тут что-то не так! Но я докопаюсь, я узнаю, в чем дело. Ты не выйдешь за этого дурака Гилфойла. Я люблю тебя, Нора! Я постою за тебя!

Она помолчала, жалея его, потом с бесцветной улыбкой сказала:

– Я чувствую себя так, будто живу на свете по крайней мере миллион лет.

Встав, Нора наклонилась и, как когда-то, поцеловала его в щеку. Они в молчании стали спускаться с холма, и дрозд уже не пел на своем высоком дереве.

Вечером, твердо решившись добиться своего, Фрэнсис отправился в сторону доков, где жили Мэгуну. Он нашел изгнанника Скэнти одного – Мэгги еще не вернулась со своей поденщины. Скэнти сидел у слабо тлеющего огня в единственной тесной комнате их «квартиры».



При свете сальной свечи он с мрачным видом мастерил челнок для ткацкого станка. В мутных глазах изгнанника, несомненно, блеснуло удовольствие, когда он узнал своего гостя. Блеск этот стал еще ярче при виде полпинты<sup>21</sup> виски, извлеченной Фрэнсисом (он стащил ее в баре). Скэнти живо достал шербатую фаянсовую чашку и торжественно выпил за своего благодетеля.

– Вот это вещь! – пробормотал он, утираясь рваным рукавом. – С тех пор как этот скряга Гилфойл заграбастал бар, черта лысого получишь там глоточек!

Фрэнсис уселся на деревянный стул без спинки. Под глазами у него залегли глубокие тени. Он заговорил с хмурой настойчивостью:

– Скэнти! Что произошло в «Юнионе»? Что случилось с Норой, с Полли, с Нэдом? Вот уже три дня, как я вернулся и все еще ничего не понимаю. Ты должен сказать мне.

Лицо Скэнти выразило тревогу. Он переводил взгляд с Фрэнсиса на бутылку, с бутылки на Фрэнсиса.

– Ха! Откуда же мне знать?

– Ты знаешь, я вижу по твоему лицу.

– Разве Нэд ничего тебе не сказал?

– Нэд! Он как глухонемой все эти дни.

– Бедный старый Нэд! – Скэнти тяжело вздохнул, перекрестился и налил себе еще виски. – Господи, помилуй нас, грешных! Кто бы мог подумать! Вот уж правда, что никто не может за себя поручиться! – И он хрипло, с неожиданной силой воскликнул: – Нет, Фрэнсис! Ничего я тебе не скажу, стыдно просто и вспоминать, да и что толку?

– Очень большой толк, Скэнти. Если я буду знать, то смогу что-нибудь сделать, – настаивал Фрэнсис.

– Ты думаешь... с Гилфойлом... – Скэнти задрал голову кверху, подумал, медленно кивнул. Он глотнул разочек, чтобы подкрепиться, его помятое лицо стало необычайно серьезным; понизив голос, Скэнти решил: – Ладно уж, Фрэнсис, я скажу тебе, побожись только, что никому не проговоришься. Дело-то в том... Господи помилуй... У Норы родился ребенок.

Наступившее молчание длилось так долго, что Мэгун успел подкрепиться еще разок.

– Когда? – спросил наконец Фрэнсис.

– Вот уже шесть недель. Она уезжала в Уитли-Бей. Там у одной женщины и оставили ребенка... Дочку... Нора видеть ее не может.

Холодно и неумолимо Фрэнсис силился подавить охватившее его смятение. Он заставил себя спросить:

– Значит, Гилфойл отец этого ребенка?

– Эта безмозглая дрань?! – Ненависть Скэнти пересилила осторожность. – Что ты, нет-нет! Он просто «предложил свои услуги», как он изволит выражаться: он дает малышке свое имя, а за это получает «Юнион». Подлец! Но за ним стоит отец Фицджеральд. Да, Фрэнсис, они ловко все это обстряпали, ничего не скажешь. Свидетельство о браке в кармане, все шито-крыто, а дочку привезут позднее, будто после летних каникул. Разрази меня Бог на этом месте, свинью и ту стошнит от всего этого!

Сердце Фрэнсиса невыносимо сжалось, словно охваченное обручем. Он изо всех сил старался говорить твердо:

– Я никогда не знал, что Нора была влюблена... Скэнти... ты знаешь, кто это... ну, понимаешь... кто отец ребенка?

– Вот как Бог свят, не знаю! – Кровь бросилась Скэнти в лицо, от его шумных отрицаний даже пол застонал под ним. – Я совершенно ничего об этом не знаю. Да и откуда мне, бедняге, знать! Да и сам Нэд не знает тоже, истинная правда! Нэд всегда хорошо обращался со мной...

---

<sup>21</sup> *Пинта* (англ. pint) – единица объема в США, Великобритании и ряде других стран; в Великобритании 1 пинта –  $\frac{1}{8}$  галлона – 0,568 л.

Он хороший, честный, великодушный человек... Правда, иной раз, когда Полли уезжала, он уж слишком напивался... Нет-нет, Фрэнсис, поверь мне, нет никакой надежды узнать, кто этот человек.

Снова наступило молчание, нескончаемое, леденящее душу. Все туманилось перед глазами Фрэнсиса. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу. Наконец, сделав над собой страшное усилие, Фрэнсис встал:

– Спасибо, Скэнти, что сказал мне.

Он вышел из комнаты, нетвердыми шагами спустился по голой лестнице. На лбу и ладонях выступил холодный пот, перед глазами стояла, преследуя и мучая его, Норина комната – ее опрятная нарядность, белизна и покой. Фрэнсис не чувствовал ненависти, только жгучую жалость, судорожно стискивающую его душу. Выйдя на грязный двор, он прислонился к фонарному столбу, и его стошнило в канаву.

Теперь ему стало холодно, но он не оставил своего намерения и решительно зашагал к церкви Святого Доминика.

Скромная экономка священника бесшумно впустила его в дом. Спустя минуту она так же бесшумно вернулась в полуосвещенную комнату и впервые слабо улыбнулась ему:

– Вам посчастливилось, Фрэнсис. Его преподобие свободен и может принять вас.

С табакеркой в руке отец Джеральд Фицджеральд поднялся навстречу юноше. За сердечностью его манер проглядывало недоумение. Осанистый и красивый, он очень подходил к этой комнате с французской мебелью, старинным *grîe-dieu*<sup>22</sup>, отличными копиями итальянских примитивистов на стенах и вазой с лилиями на секретере, наполнявшими своим благоуханием обставленную со вкусом комнату.

– Ну, молодой человек, а я думал, ты на севере. Садись! Как поживают мои милые друзья в Холиуэлле? – Он остановился, чтобы сделать понюшку табаку, и одобрительно посмотрел на форменный галстук Фрэнсиса. – Я ведь тоже учился там, и знаешь, прежде чем отправился в Рим... Прекрасное место... Милый старый Макнэбб... и отец Тэррент... Мы с ним учились в одном классе в английском колледже в Риме. Прекрасный человек, с большим будущим! Так в чем дело, Фрэнсис? Чем могу тебе служить? – Он замолчал, прикрывая свою догадку светской учтивостью.

В мучительном замешательстве, с участвующимся дыханием, Фрэнсис не поднимал глаз:

– Я пришел к вам насчет Норы.

Эти слова, произнесенные с запинкой, нарушили безмятежность комнаты, ворвались диссонансом в ее вычурный уют.

– А что насчет Норы, скажи, пожалуйста?

– Ну, насчет ее брака с Гилфойлом... Она не хочет... Она несчастна... И все это выглядит так глупо и несправедливо... Такая ненужная и страшная история...

– Что ты знаешь об этой страшной истории?

– Ну, все... В общем, она не виновата.

Наступило молчание. На красивом лице Фицджеральда выразилась досада, но он смотрел на потерявшегося от горя Фрэнсиса с какой-то величавой жалостью:

– Мой милый мальчик, если ты станешь священником, а я полагаю, что ты им станешь, и если ты приобретешь хоть половину того жизненного опыта, которым, к несчастью, обладаю я, то поймешь, что некоторые нарушения социального порядка требуют специфических средств для их излечения. Ты потрясен этой, – он повторил слова Фрэнсиса, – «страшной историей». А я нет. Я даже предвидел ее. Я знаю, что такое торговля виски, и ненавижу ее за то влияние, которое она оказывает на грубый люд, населяющий наш приход. Мы с тобой можем спокойно

---

<sup>22</sup> Скамеечка для коленопреклонения во время молитвы (*фр.*).

сесть и наслаждаться нашим «Lachryma Christi»<sup>23</sup>, как подобает джентльменам. Ну а мистер Эдвард Бэннон этого не умеет. Но хватит! Не хочу делать никаких голословных утверждений. Я только хочу сказать, что перед нами стоит проблема, к сожалению вовсе не редкая для тех, кто проводит много тягостных часов в исповедальне. – Фицджеральд замолчал и потянулся холерной рукой за табаком. – Как же нам ее разрешить? Я скажу тебе. Во-первых, мы должны узаконить и окрестить ребенка. Во-вторых, выдать мать замуж за порядочного человека, если нам удастся найти такого, который согласится жениться на ней. Мы должны ввести эту ситуацию в нужное русло и из этой неприглядной путаницы сделать хорошую католическую семью, построить из этого хаоса здоровую социальную единицу. Поверь мне, Норе Бэннон еще повезло, что ей попался такой Гилфойл. Он, правда, умом не блещет, но человек надежный. Вот увидишь, года через два она будет ходить к мессе с мужем и детьми... и будет совершенно счастлива.

– Нет-нет, – вырвалось сквозь сжатые губы Фрэнсиса, – она никогда не будет счастлива с ним. Она будет сломлена и несчастна.

Фицджеральд чуть вскинул голову:

– А по-твоему, основной целью нашей земной жизни является счастье?

– Она сделает что-нибудь с отчаяния. Нору нельзя принуждать. Я знаю ее лучше, чем вы.

– Ты, кажется, знаешь ее очень близко, – улыбнулся Фицджеральд с уничижающей учтивостью. – Надеюсь, ты сам не заинтересован в ней как в женщине.

Темно-красные пятна загорелись на бледных щеках Фрэнсиса.

– Я очень привязан к Норе. Но если я люблю ее, то в этой любви нет ничего, что сделало бы ваши обязанности исповедника более тягостными. Я прошу вас, – в его голосе была тихая отчаянная мольба, – не принуждайте ее к этому браку. Она не такая, как все. Нельзя навязывать ей ребенка и постылого мужа только потому, что в своем неведении она...

Задетый за живое, Фицджеральд стукнул табакеркой по столу:

– Не поучайте меня, сэр!

– Простите! Вы же видите, я и сам не ведаю, что говорю. Я стараюсь упросить вас воспользоваться вашей властью. – Фрэнсис сделал последнее отчаянное усилие: – Дайте ей хоть какую-то отсрочку!

– Хватит, Фрэнсис!

Приходской священник слишком хорошо владел собой и слишком привык управлять другими, чтобы надолго потерять равновесие. Он резко встал со стула и посмотрел на плоские золотые часы:

– В восемь часов у меня собрание братства. Тебе придется извинить меня. – Когда Фрэнсис встал, отец Фицджеральд с упреком, но ласково похлопал его по спине. – Милый мой мальчик, ты очень молод и, я бы сказал, безрассуден. Но, слава Богу, в лице Святой церкви ты имеешь мудрую старую мать. Не пытайся пробить стену головой, Фрэнсис. Эти стены стоят уже много поколений и выдерживали более сильные натиски. Ну ладно-ладно, я знаю, что ты хороший мальчик. После свадьбы заглядывай, поболтаем о Холиуэлле. А пока... как небольшое искупление за твою грубость прочти за меня «Salve Regina»<sup>24</sup>. Ладно?

Фрэнсис молчал. Все было бесполезно, совершенно бесполезно.

– Хорошо, святой отец, – наконец произнес он.

– Ну, тогда доброй ночи, сын мой... Да благословит тебя Бог!

Сырой и прохладный ночной воздух окутал Фрэнсиса. Потерпевший поражение, сломленный своим юношеским бессилием, он побрел прочь от дома священника. Шаги его глухо отдавались на безлюдной дороге. Когда он проходил мимо церкви, ризничий закрывал боковую дверь. Фрэнсис остановился в темноте, с непокрытой головой, и посмотрел, как исчезала

---

<sup>23</sup> Сладкое красное вино (*лат.*).

<sup>24</sup> «Святая Царица» (*лат.*) – молитва Божьей Матери.

последняя полоска света. Взгляд его обратился к верхнему ряду окон, освещающих хоры с помощью конькового фонаря. Этот неверный свет показался Фрэнсису видением духа смерти. Из глубины овладевшего им отчаяния у него вырвалось: «О Господи! Сделай так, как будет лучше для всех нас!»

Приближался день свадьбы. Фрэнсиса измучила беспощадная бессонница. Его лихорадило. Атмосфера в таверне как-то незаметно стала спокойной, подобно стоячей воде. Нора была тиха. Тетя Полли питала какие-то смутные надежды. Нэд все еще сидел, съездившись, в одиночестве, однако мутный страх в его глазах стал исчезать. Венчание произойдет, конечно, в самом тесном кругу. Но что касается приданого... Тут не знали никакого удержу... Было обдумано и все, связанное с предстоящим медовым месяцем в Килларни. Весь дом был завален нарядами, бельем и кусками дорогих материй и полотна. Тетя Полли пробиралась через них со ртом, полным булавок, умоляя сделать еще одну примерочку. Она была словно окутана милосердным туманом.

Гилфойл наблюдал за происходящим с самодовольным видом, курил лучшие сигары, имеющиеся в «Юнионе», и время от времени совещался с Нэдом по денежным вопросам. Был составлен и должным образом подписан акт о вступлении его в компаньоны, велись долгие разговоры об устройстве жилья новой четы. Многочисленные бедные родственники Тэда уже толклись в доме, они были льстивы, но нахальны. Его замужняя сестра, миссис Нейли, с дочерью Шарлоттой были, пожалуй, хуже всех.

Нора почти не говорила. Однажды, встретив Фрэнсиса в коридоре, она остановилась:

– Ты знаешь?.. Ты ведь все знаешь, да?

Его сердце разрывалось, он не смел взглянуть ей в глаза:

– Да, знаю.

Наступило гнетущее молчание. Фрэнсис не мог выдержать этой пытки и начал говорить бессвязно, плача, как мальчишка:

– Нора... этого нельзя допустить... Если бы ты знала, как я переживаю за тебя... Я мог бы заботиться о тебе, работать для тебя, Нора... позволь мне увезти тебя.

Она посмотрела на него со странной сострадательной нежностью:

– Куда же мы уедем?

– Куда угодно, не все ли равно?

Он говорил как одержимый, его щеки были мокры от слез и блестели. Она не ответила, молча сжала его руку и ушла мерить платье.

За день до свадьбы Нора немного оттаяла, отбросила свою холодную бесчувственную покорность. Сидя за одной из бесчисленных чашек чая, которые навязывала ей Полли, она вдруг объявила:

– Я, пожалуй, съезжу сегодня в Уитли-Бей.

В изумлении тетя Полли повторила:

– В Уитли-Бей? – Затем взволнованно добавила: – Я поеду с тобой.

– В этом нет никакой необходимости. – Нора помолчала, легонько помешивая свой чай. – Впрочем, если ты хочешь, то конечно...

– Конечно я хочу, дорогуша моя!

Легкость, с какой говорила Нора, успокоила тетю Полли. Ей даже показалось, что она уловила в ее словах отзвук былой лукавой веселости, прозвучавшей, подобно отдаленной музыке, где-то в глубине ее существа. Теперь Полли взглянула на предстоящую поездку более благожелательно. Она с изумлением и радостью подумала, что, пожалуй, Нора приходит в себя и все образуется. Допив чай, она принялась вспоминать красоты Килларнийского озера, которое однажды посетила, будучи девочкой. Там еще был очень забавный лодочник.

Обе женщины, одетые по-дорожному, после обеда отправились на станцию. Поворачивая за угол, Нора обернулась и посмотрела на окно, около которого стоял Фрэнсис. Помедлив секунду, она улыбнулась печально и помахала рукой. Потом она ушла.

Известие о несчастном случае дошло до них раньше, чем успели привезти на извозчике тетю Полли, находящуюся в состоянии полной прострации. Взволновался весь город. Такой всеобщий интерес к случившемуся, конечно, не мог быть вызван только тем, что неосмотрительная молодая женщина оступилась и упала между платформой и идущим поездом. Особую остроту происшествию придавало то, что это случилось накануне свадьбы. Всюду в районе доков закутанные в шали женщины выбегали из дверей, собирались кучками и, подбочившись, начинали обсуждение. В конце концов виновниками трагедии были признаны новые туфли жертвы. Все чрезвычайно сочувствовали Тадеусу Гилфойлу и всей семье, а также всем молодым женщинам, собиравшимся выходить замуж и вынужденным ездить на поездах. Поговаривали о том, что для погребения искалеченных останков будут устроены торжественные публичные похороны, даже с оркестром религиозного братства.

Поздно ночью, сам не зная как, Фрэнсис очутился в церкви Святого Доминика. Она была совершенно пуста. Мерцающий огонек неугасимого светильника у алтаря притягивал его измученные глаза, как слабый свет маяка. Недвижимый, бледный, он застыл на коленях. Фрэнсис чувствовал, что неотвратимая, беспощадная судьба как бы сжимает его в своих объятиях. Никогда еще не испытывал он такого отчаяния, никогда еще не чувствовал себя таким покинутым. Плакать Фрэнсис не мог. Его потрескавшиеся холодные губы не могли произнести слова молитвы, но в его терпящей смертные муки душе росла мысль о жертве. Сначала родители... Теперь Нора. Он не мог больше оставлять без ответа эти призывы. Он уедет... Он должен уехать... к отцу Макнэббу... в Сан-Моралес. Он всецело отдаст себя Богу. Он должен стать священником.

## 6

В 1892 году, на Пасху, в Сан-Моралесе произошло событие, заставившее всю английскую семинарию зажужжать от ужаса, как потревоженный улей. Один из семинаристов исчез на целых четыре дня.

Естественно, что семинарии, основанной в этих Арагонских нагорьях пятьдесят лет назад, случалось быть свидетельницей нарушений порядка. Иногда на час-другой взбунтовавшиеся студенты, скрываясь за стенами второразрядных гостиниц, торопливо приводили в беспорядок совесть и пищеварение длинными сигарами и местной водкой. Раза два приходилось даже вытаскивать непокорных насильно из сомнительных гостиных виа Амороза в городе. Но чтобы случилось такое! Чтобы студент среди бела дня вышел через открытые ворота и через полнедели, опять среди бела дня, вошел, прихрамывая, в те же самые ворота, запыленный, небритый, всклоченный! Весь вид уличал его в ужасном беспутстве. И чтобы потом этот студент, не придумав другого оправдания, кроме «Я ходил гулять», бросился на кровать и проспал целые сутки... Нет! Это уже было отступничеством!

Во время перемены студенты боязливо обсуждали случившееся. Они собирались небольшими группами – их черные фигуры живописно выделялись на залитых солнцем склонах горы среди яркой зелени виноградников, в которой уже проблескивала медь. Под ними белая, как бы светящаяся на фоне розовой в лучах солнца земли, лежала семинария.

Все решили, что Чисхолм, без сомнения, будет исключен.

Немедленно была создана комиссия для расследования чрезвычайного происшествия. Как это всегда делалось в случаях серьезных нарушений дисциплины, она состояла из ректора, администратора, руководителя новициев и старосты – представителя от семинаристов. Комиссия собралась в зале для теологических диспутов на следующий день после возвращения ренегата, проведя несколько предварительных совещаний.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.